

МЭРИ
ШЕЛЛИ

✧
Смертный бессмертный
✧



✧ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✧

Зарубежная классика (АСТ)

Мэри Шелли

Смертный бессмертный

«Издательство АСТ»

1833

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Шелли М. У.

Смертный бессмертный / М. У. Шелли — «Издательство АСТ»,
1833 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-139064-8

Мэри Шелли по праву считается одной из ярчайших звезд готической литературы. Дань этому нестареющему жанру она отдала не только во «Франкенштейне», но и в своих рассказах и новеллах, написанных в разные годы жизни и исследующих самые разные уголки Неведомого. Таинственный двойник, сумевший занять место молодого графа в его же доме, невероятная сделка с карликом-чародеем в попытке вернуть состояние и положение в обществе, неравная любовь и необычное лекарство – эликсир бессмертия, ночь на смертельно опасном уступе в надежде получить совет от высших сил – в жемчужинах малой прозы королевы готики Мэри Шелли!

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-139064-8

© Шелли М. У., 1833
© Издательство АСТ, 1833

Содержание

Сестры из Альбано	5
Фердинандо Эболи	15
Дурной Глаз	26
Сон	38
Скорбящая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Мэри Шелли

Смертный бессмертный

Сестры из Альбано

*Альбано плещет меж соседних скал;
Вот Тибр сверкает лентой предо мною,
И омывает моря синий вал
Брег Лапиума дальний... Песнь про Трою
Там загорелась яркою звездою.
Направо вилла: Туллий находил
В ней тишину, наскучив суетою.
А там, где кряж полнеба обхватил,
Измученный поэт в прелестной мызе жил¹.*

В последнюю свою поездку перед тем, как покинуть Рим, я захотела взглянуть на это прекрасное озеро. Весна уже переходила в лето: деревья облеклись свежей зеленой листвою, и пел виноградарь, что, пробираясь между ними, подрезал лозы; цикады еще не завели свою песнь – а значит, не пришло время удушающей жары; но вечерами в холмах мерцали светляки, и крик азиолы² убеждал нас в том, в чем в этой стране нет нужды сомневаться – что завтра погода будет не хуже, чем вчера. Выехали мы ранним утром, чтобы избежать зноя, позавтракали в Альбано и с десяти часов утра делили время между мозаиками, Виллой Цицерона и другими достопримечательностями здешнего края. В середине дня мы устроились на отдых в шатре, раскинутом для нас на вершине холма. Отсюда открывался вид на окруженное холмами озеро и городок с церковью на дальнем его берегу. По склонам гор рассыпались деревушки и отдельные домики; а позади всего этого фоном раскинулось глубокое синее море, воспетое южными поэтами; Тибр, неутомимый и бессмертный, катил в него свои быстрые воды и растворялся в его глубине. Пал Колизей, рухнул Пантеон, и сами холмы Рима сгладило время – но Тибр все живет, все течет и вечно питает собою Средиземное море.

Компания у нас, искателей диковинок, собралась немаленькая, но более всех заинтересовала меня графиня Атанасия Д., прекрасная, как создание Рафаэля, и добросердечная, как идеал поэта. С ней были двое ее детей, в коих благовоспитанность сочеталась с веселостью, хорошие манеры – с любопытными взглядами. Я села с нею рядом, и мы вместе следили за нескончаемым бегом теней по холмам. Солнце, опускаясь к горизонту, пролило в долину озера поток света и жидким золотом окрасило глубокую расщелину между гор. Пылали и сверкали купола и башни городка, деревья купались в сиянии; два-три легких облачка, столь пронизанные светом, что, казалось, сами состояли теперь из солнечных лучей, золотистыми островками плыли в блистающих эмпиреях. Воды, отражающие сияние небес и тронутые лучами берега, сверкали у наших ног, словно второе небо и вторая земля. Средиземное море, взирающее на солнце – так туманятся глаза невесты, когда она ловит взор жениха, – впитывая его свет, забыло о себе и смешалось с солнцем так, что стало с ним единым целым. Долго смотрели мы – и

¹ Джордж Байрон. Чайльд-Гарольд. Песнь четвертая. Перевод С. Ильина. – *Здесь и далее, если не оговорено иначе, примеч. пер.*

² Сова (*ит.*). Выразительному голосу азиолы посвящено стихотворение П. Б. Шелли «Азиола».

души наши, как море, и холмы, и озеро, впивали в себя эту дивную красу: но наконец чаша переполнилась, и мы со вздохом отвели взоры.

У подножия холма простиралась полоска земли, образующая ближний план пейзажа: здесь высились на фоне неба два дерева, залитые золотистым светом, что, казалось, каплями росы повис на их листьях и ветвях; с другой стороны закрывала вид скала, увитая плющом и украшенная цветущим миртом; меж огромных камней пробирался ручей, а на берегу его, на обломках скалы, сидели двое или трое крестьян, привлечших наше внимание. Один был охотник – на это указывало его ружье, прислоненное к уступу неподалеку; однако грубая соломенная шляпа и живописный, но бедный костюм свидетельствовали о том, что он принадлежит к земледельческому сословию. Другая – *contadina*³ в обычном для этой местности костюме с корзинкой на локте – возвращалась из деревни в свой уединенный домик. Они рассматривали товары корабейника, что, сняв шляпу, стоял перед ними, – в основном картинки с местными видами, изображения Мадонны и печатные издания. Наши крестьяне разглядывали все это с неподдельным интересом.

– Об этой паре легко сочинить историю, – заметила я. – Путь воображению укажет ружье: допустим, перед нами разбойник, гроза здешних мест, и его возлюбленная *contadina* – и лишь ей, самому незащитному созданию на свете, он не страшен...

– Вы так легко говорите о подобной связи, – отвечала прелестная графиня, – словно она по самой природе своей не должна приводить к ужасным трагедиям. Любовь и преступление – такое сочетание сулит только горе: незаконная жизнь неизбежно приносит и самому преступнику, и всем, кто с ним связан, невыразимые несчастья. Я говорю об этом с таким чувством, ибо ваше замечание напомнило мне об одной злополучной девушке, ныне сестре милосердия в римском монастыре Санта-Кьяра, чья пагубная страсть именно к такому человеку, как вы упомянули, навлекла величайшие беды на всю ее семью.

Я стала упрашивать мою прелестную приятельницу, чтобы та поведала мне историю этой монахини. Долго она противилась моим уговорам, не желая омрачать удовольствие от поездки этой скорбной историей. Но я не отставала, и она согласилась. Нежная итальянская речь ее и сейчас звучит у меня в ушах, прекрасное лицо стоит перед глазами. Пока она рассказывала, село солнце, и по оставленному им сияющему следу выплыл в небеса серп месяца. Озеро сделалось из пурпурного серебристым, и деревья, еще недавно сияющие, теперь превратились в неясные темные тени: лишь верхушки их слабо серебрила луна. Меж камней замелькали светлячки, над головами у нас проносились летучие мыши, а графиня Атанасия рассказывала свою историю.

У монахини, о которой я поведу речь, была старшая сестра. Я помню обеих: детьми они носили яйца и фрукты на виллу моего отца. Мария и Анина были неразлучны. В широкополых соломенных шляпах, защищающих от палящего солнца, день-деньской трудились они на *podere*⁴ своего отца; а вечерами, когда Мария, четырьмя годами старше, шла к источнику за водой, Анина всегда бежала рядом. Их хижина – отсюда ее не видно за холмом – находится на дальнем берегу озера, а источник, о котором я говорю, примерно в четверти мили выше по склону. Мария была тихой, серьезной, задумчивой; Анина – очаровательным веселым созданием с ангельским личиком. Когда старшей сестре исполнилось пятнадцать, слегла их мать: за ней ухаживали в монастыре Санта-Кьяра в Риме. День и ночь Мария не отходила от постели больной. Монахини видели в девушке ангела, она почитала их святыми; мать ее умерла, и монахини убедили Марию к ним присоединиться; отец ее не мог не одобрить такого святого намерения, и Мария сделалась одной из сестер милосердия, монахинь, ходящих за больными

³ Крестьянка (*ит.*).

⁴ Владение, земельный участок (*ит.*).

в Санта-Кьяре. Раз или два в году она бывала дома, давала мудрые и добрые советы Анине – и порой плакала, прощаясь с нею; но благочестие и неустанная забота о больных примиряли ее со своей судьбой. Анина еще более горевала о том, что лишилась общества сестры. Другие девушки в деревне не были ей интересны: она была хорошей дочерью, неустанно трудилась в отцовском доме, и лучшей наградой для нее становилось, когда отец расхваливал ее в письмах Марии, и та, приезжая, осыпала сестру нежными похвалами и ласками.

Вплоть до пятнадцати лет Анина не выказывала ни малейшего охлаждения к сестре. Впрочем, неверно здесь говорить об охлаждении: любила Анина сестру, быть может, еще сильнее прежнего, но теперь ее святое призвание и мудрые наставления лишали ее покоя, и Анина трепетала при мысли, что монахиня, преданная Небесам и благим деяниям, способна прочесть в ее глазах – и осудить – охватившую ее земную страсть. Быть может, отчасти ее тревога была связана со слухами, ходившими в окрестностях о ее возлюбленном, и несомненно, – с тем неодобрением, даже неприязнью к нему, что часто выражал ее отец. Несчастливая Анина! Не знаю, умеют ли крестьяне у вас на севере любить так, как наши: но ее любовь была сплетена с корнями ее существа, стала ею самой – она могла умереть, но не могла перестать любить. Отец ее за что-то невзлюбил Доменико, и потому они встречались втайне. Юноша всегда ждал ее у источника, помогал наполнить кувшин водой и поставить на голову. Он ходил на те же церковные службы, что и она; а когда отцу ее случалось отправиться в Альбано, Веллетри или в Рим, Доменико, словно каким-то чутьем угадывая, что он отлучился, в тот же миг присоединялся к ней в *podere* и работал там вместе с ней и за нее, пока старик не показывался вдалеке на склоне холма. Доменико уверял, что батрачит на одного *contadino*⁵ в Неми. Порой Анина спрашивала себя, как позволяет ему работа столько времени проводить с ней; но объяснения его были вполне правдоподобны, а встречи слишком радостны, чтобы невинная девушка что-то заподозрила и начала доискиваться до истины.

Бедный Доменико! Слухи, ходившие о нем в округе, были, увы, слишком обоснованны. Оправдывало его разве только то, что грабежом промышлял и его отец, и Доменико вырос среди разбойников. По натуре он не был пропащим – он мечтал о мирной жизни и чистой совести. Впрочем, едва ли можно сказать, что совесть его была нечиста; никакими ужасными преступлениями он себя не запятнал. И все же он был преступником, бандитом; и теперь, когда полюбил Анину, названия эти ядовитыми стрелами жалили его совесть. Хотел бы он бежать от своих товарищей как можно дальше – но разве мог он бросить Анину? На беду как раз в это время французское правительство, в те годы владевшее Римом, учредило здесь полицию, а та начала бороться с бандитами. Ходили слухи, что против разбойников, обитающих на холмах близ Альбано, Веллетри и Неми, вот-вот будут приняты самые серьезные меры, и это заставило разбойничьи шайки сплотить свои ряды. Доменико, если бы и мог – не бросил бы товарищей в минуту опасности.

Однажды – было это в конце октября – Анина вместе с отцом вышла на *festa*⁶ – праздничные гуляния, когда по всей Италии поселяне собираются и ходят толпой по деревне. Вокруг только было и разговоров, что о *ladri*⁷ и о французах: рассказывали немало ужасов об истреблении *banditti*⁸ в Неаполитанском королевстве, подробно описывали меры, при помощи которых французам удалось преуспеть в этом предприятии. Армейские отряды прочесывали местность, разоряли одно бандитское логово за другим, выкуривали оттуда разбойников, гнали их, как в этих краях гонят диких зверей на охоте, и, постепенно сужая круг, запирали в одном месте. Затем вокруг этого места выставляли кордоны и тщательнейшим образом его охраняли; мест-

⁵ Крестьянин (*ит.*).

⁶ Праздник (*ит.*).

⁷ Воры (*ит.*).

⁸ Разбойники (*ит.*).

ным жителям под страхом немедленной смерти запрещалось ходить туда и особенно носить провизию. Поскольку эта угроза неуклонно выполнялась, скоро осажденные бандиты начинали страдать от недостатка пищи, и голод принуждал их сдаться. Со дня на день французов ждали и здесь – их уже видели в Веллетри и в Неми; в то же время говорили уверенно, что несколько разбойников укрылись в Рокка-Джоване, брошенной деревушке на вершине одного из соседних холмов – и, должно быть, там и будут скрываться от облавы.

На следующий день, когда Анина работала в *podere*, по дороге, что отделяла их садик от озера, проскакал конный французский отряд. Любопытство заставило французов обратить внимание на девушку; красота ее не могла ускользнуть от их взглядов. Шутки и комплименты скоро заставили ее бежать: ведь любящая женщина посвящает себя любимому безраздельно, и восхищение из чужих уст кажется ей осквернением святыни. Анина пожаловалась на бесстыдство французов отцу; тот отвечал: слава богу, что они приехали, теперь-то разберутся с разбойничьими бандами, шныряющими по округе.

Тем же вечером, подходя к источнику, Анина боязливо озиралась по сторонам и надеялась, что встретит Доменико на привычном месте: вспоминая о французах, она не чувствовала себя в безопасности. В этот раз она пришла за водой позднее обыкновенного, а вечер был пасмурный и темный: ветер завывал в ветвях и клонил даже величественные кипарисы, высокие волны гуляли по озеру, и над вершинами холмов клубились, довершая мрачный пейзаж, темные, бесформенные гроззовые тучи. Анина торопливо шла вверх по горной тропе. Наконец ей открылся источник, бьющий из грубо отесанных камней – и над ним Доменико: он стоял, прислонившись к скале, гордо скрестив руки на груди, шляпа надвинута на глаза, с плеч спадает *tabaro*⁹. Увидев Анину, он бросился к ней: слова его были отрывисты и несвязны, но никогда прежде он не взирал на нее с такой пламенной любовью, никогда не умолял ее остаться подольше с такой страстной нежностью.

– Как я рада, что ты здесь! – воскликнула она. – Я боялась встретить кого-нибудь из этих французских солдат; они пугают меня больше, чем *banditti*.

Доменико бросил на нее пристальный взгляд, а затем, отвернувшись, проговорил:

– Прости, я не смогу остаться в здешних краях, чтобы защищать тебя. Мне нужно на неделю или две уехать в Рим. *Anina mia*¹⁰, ты ведь останешься мне верна? Будешь любить меня, даже если мы никогда больше не увидимся?

Разговор при этих обстоятельствах продлился дольше обычного. Доменико провожал ее вниз по тропе, пока впереди не показалась деревня; на этом месте влюбленные остановились. Вдруг из миртовых зарослей на берегу озера послышался тихий свист; Доменико вздрогнул и замер; свист повторился; Доменико засвистал в ответ. Испуганная, Анина хотела спросить, что это значит – но в этот миг он впервые прижал ее к сердцу, поцеловал в нежные губы и, прошептав: «*Carissima, addio!*»¹¹ – спрыгнул на берег, бросился бежать и исчез во тьме. В изумлении Анина вглядывалась во мрак – и скоро, когда в прогале меж тучами мелькнул лунный луч, увидела, как от берега отчаливает лодка. Девушка долго стояла в глубокой задумчивости, недоумевая и с острым наслаждением вспоминая быстрые объятия и страстное прощание своего возлюбленного. Она так долго не возвращалась домой, что отец вышел ей на- встречу.

После этого каждый вечер при звуках «*Ave Maria*»¹² Анина поднималась к источнику – но Доменико больше не приходил. Неизъяснимые страхи теснили ее сердце; каждый день казался вечностью.

⁹ Плащ (*ит.*).

¹⁰ Моя Анина (*ит.*).

¹¹ Прощай, любимая! (*ит.*)

¹² Имеется в виду колокольный звон, призывающий к вечерне.

Прошло около двух недель, и семья получила письмо от Марии. Она писала, что болела малярийной лихорадкой, теперь поправляется, но для выздоровления ей необходим свежий воздух, так что она получила отпуск и собирается провести месяц дома, в Альбано, поэтому просит отца приехать и забрать ее на следующий день. Для Анины это была радостная весть: она решилась все раскрыть сестре и не сомневалась, что за время долгого визита сестра сумеет успокоить ее и утешить. Наутро старый Андреа уехал – и весь день нежная дева провела в мечтах о скорой радости. К вечеру отец привез Марию, исхудалую и бледную, со следами перенесенной тяжелой болезни; однако та заверила сестру, что теперь чувствует себя вполне здоровой.

Семья села за скромный ужин. Несколько соседей пришли повидать Марию; но все разговоры их были лишь о французских солдатах и о грабителях – банде по меньшей мере из двадцати человек, нынче, как рассказывали, окруженных в Рокка-Джоване и сидящих там в осаде.

– Французов стоит поблагодарить за доброе дело, – заметил Андреа, – наконец-то страна избавится от этих негодяев!

– Верно, дружище, – отвечал другой. – И все же страшно подумать, что они там терпят: еда-то у них, должно быть, давно на исходе, так что теперь они голодают. У них ни единой унции макарон не осталось, и тот бедняга, которого схватили и казнили вчера, был сущий скелет: все косточки можно пересчитать!

– А какая беда, – прибавил третий, – случилась с тем стариком из Неми, у которого, говорят, сын сидит теперь с ними в Рокка-Джоване! Его застали на окруженной территории с *bassalia*¹³, спрятанным под *pastrano*¹⁴, – и пристрелили на месте.

– Второй такой отчаянной банды, – снова заговорил первый, – не видали ни в «княжествах», ни в *regno*¹⁵. Разбойники поклялись не сдаваться – и порешили выслеживать прохожих, захватывать их в заложники, а после торговаться с правительством и их головами выкупить себе свободу. Но французы безжалостны: они скорее допустят, чтобы ярость бандитов обрушилась на кого-нибудь из этих ни в чем не повинных бедолаг, чем пощадят хоть одного!

– Двоих бандиты уже схватили, – подтвердил другой. – Старая Бетта Тосси с ума сходит от страха: сын ее уже десять дней не появлялся дома, и она думает, что он попал в плен к разбойникам.

– А я так думаю, – заговорил один старик, – что сын ее и вправду у разбойников, вот только ушел к ним по доброй воле. Не зря этот бездельник повсюду таскался за Доменико Бальди из Неми!

– Худшей компании во всей стране не найти! – проворчал Андреа. – Этот Доменико – с дурного дерева дурная ветка! Он сейчас тоже в деревне с остальными?

– Точно так, я видел его там собственными глазами, – заговорил еще один крестьянин. – Я поднимался на холм – нес часовым яйца и кур, и вдруг вижу, закачались ветви падуба. Бедняга, должно быть, ослабел, не смог удержаться в своем укрытии и упал с дерева наземь. Все мушкеты нацелились на него – но он вскочил и бросился бежать, петляя, словно заяц, между скал. Но один раз обернулся, и тут я ясно увидел, что это Доменико: исхудал он знатно, бедняга, это уж точно, и все же я разглядел и узнал его так же ясно, как сейчас... *Santa Virgine!*¹⁶ Что такое с Ниной?

Анина лишилась чувств. Гости разошлись, а она осталась на попечении сестры. Придя в себя, бедняжка сразу все вспомнила и сообразила – и не вымолвила ни слова, кроме того, что хочет отдохнуть. Мария радовалась, что проведет долгий отпуск дома, и хотела бы вволю

¹³ Соленая или вяленая треска (*ит.*).

¹⁴ Мужская верхняя одежда (*ит.*).

¹⁵ Королевство (*ит.*). Имеется в виду политическое и административное деление Италии в период Наполеоновских войн.

¹⁶ Святая Дева! (*ит.*)

наговориться с сестрой, но теперь решила не тревожить больную: благословив ее и пожелав доброй ночи, она скоро уснула.

Доменико жестоко страдает от голода! Доменико суждено умереть голодной смертью – или погибнуть, пытаясь бежать! Это ужасное видение полностью овладело бедной Аниной. В иное время не меньшую боль причинило бы ей открытие, что ее возлюбленный – разбойник: но теперь эта мысль прошла почти незамеченной, оттесненная куда более страшными вестями. Мария спала крепким сном. Анина встала, бесшумно оделась и прокралась вниз. Здесь взяла корзинку, с которой ходила на рынок, наполнила ее всякой едой, какую нашла в доме, отперла дверь и выскользнула наружу, твердо решив добраться до Рокка-Джоване и спасти любимого от страшной гибели.

Ночь была темна – и к лучшему. Анина знала в холмах каждую тропинку, каждый поворот, каждый кустик и клочок земли по дороге от своего дома к заброшенной деревне на вершине холма. Рокко-Джоване находилась в двух часах пути от ее хижины; снизу смутно виднелись очертания далеких крыш. Ночь была темна и тиха: *libeccio*¹⁷ согнал облака ниже горных вершин и заволок туманом горизонт; не колыхался ни один листок; шаги Анины гулко отдавались в ночной тиши, но ее решимость превозмогала страх.

Вот она вошла в падубовую рощу, о которой рассказывал сосед, – и уже радовалась успеху, как вдруг услышала окрик часового. Бежать было некуда. Страх оледенил ей кровь; корзинка выпала из рук, содержимое ее рассыпалось по земле; раздался выстрел, за ним другой и третий; так Анина попала в плен.

Наутро, проснувшись, Мария увидела, что сестры нет рядом. «Должно быть, я слишком крепко спала, – сказала она себе, – и Нина решила меня не будить». Но вот она спустилась вниз, поздоровалась с отцом – Анины не было ни здесь, ни в *podere*. Оба забеспокоились. Прошло два часа – Анина не появлялась, и Андреа отправился на поиски. Придя в деревню, он увидел, что *contadini* толпятся на улице, и приглушенный возглас: «*Ecco il padre!*»¹⁸ подсказал ему – случилась беда. Сперва он решил, что дочка утонула; но истина – ее схватили французы, когда она с корзинкой провизии пыталась пробраться через кордон, – оказалась еще ужаснее. В безумном отчаянии бросился Андреа домой, чтобы рассказать о случившемся Марии, а затем бежать на холм – спасать свое дитя от казни. С ужасом выслушала Мария его историю; однако, трудясь в больнице, нельзя не научиться самообладанию и присутствию духа.

– Не ходите, отец, – сказала она. – Пойду я. Мое святое звание внушит этим людям трепет, мои слезы их тронут. Верьте мне: клянусь вам, я спасу сестру.

Пораженный ее мужеством и энергией, Андреа согласился.

Монахини Санта-Кьяры вне стен монастыря обыкновенно носят простые черные платья. Мария, однако, привезла с собой монашеское одеяние – и теперь облачилась в него, надеясь внушить уважение солдатам. Взяв благословение у отца, помолившись Деве Марии и всем святым, она отправилась в путь.

Мария стала подниматься на холм, и вскоре ее остановили часовые. Она объявила, что хочет поговорить с их командиром, и, проведенная к нему, назвалась сестрой той злосчастной девушки, которую они схватили ночью. До того офицер держался беззаботно и любезно, но, услышав об Анине, вдруг так грозно нахмурился, что Мария в ужасе всплеснула руками:

– Бедное дитя! Вы же не причинили ей вреда? Она цела?

– Пока цела, – поколебавшись, ответил он, – но на пощаду ей надеяться не стоит.

– Пресвятая Дева, сжался над ней! Что же с ней будет?

– На этот счет у меня строгие распоряжения. Через два часа она умрет.

¹⁷ Юго-западный ветер (*ит.*).

¹⁸ Вот ее отец! (*ит.*)

– Нет! Нет! – отчаянно вскричала Мария. – Такого быть не может! Не изверг же вы, чтобы убить сущее дитя!

– Мадам, – отвечал офицер, – она достаточно взрослая, чтобы понимать, что приказам следует повиноваться. Я тоже повинуюсь приказам своего начальства – и они яснее некуда: будь ей хоть девять лет, она умрет.

Эти ужасные слова преисполнили Марию новой решимости: она молила о милосердии, падала на колени, клялась, что не уйдет без сестры, взывала к Небесам и ко всем святым. Офицер, хоть и огрубевший на службе, был не злодеем и человеком благовоспитанным; мягко и сочувственно, как мог, уверял он, что все это ни к чему не приведет, что за такое преступление ему пришлось бы казнить даже собственную дочь. Он согласился лишь на одну уступку – позволил ей увидеться с сестрой.

Отчаяние придало монахине сил: вверх она почти бежала, обгоняя своего провожатого. На другой стороне холма ей предстала хижина – какой-то овечий загон, у дверей которого вышагивали часовые. В окнах не было стекол, ставни заперты; войдя в эту темную конуру после ясного солнечного дня, Мария едва различила скорчившуюся у стены фигурку сестры. Анина сидела, обхватив себя руками и склонив голову на грудь, ее черные волосы до пояса рассыпались по плечам. Услышав стук засова и шаги, Анина вздернула голову, дико оглянулась на дверь – увидела сестру и с душераздирающим криком бросилась ей в объятия.

Девушек оставили наедине. Анина, захлебываясь словами и слезами, молила сестру ее спасти; она дрожала при мысли о неминуемой страшной участи. С самой смерти матери Мария ощущала себя защитницей и опорой сестры и никогда не чувствовала такой необходимости исполнить это призвание, как сейчас, когда трепещущая, горько плачущая девушка, обхватив ее руками, сдавленным голосом умоляла о спасении. «О, если бы я могла пострадать вместо тебя!» – подумала Мария и уже готова была произнести это вслух, как вдруг ее поразила новая мысль – мысль, ставшая руководством к действию.

Сперва она успокоила Анину обещаниями помочь, затем огляделась кругом. В хижине они были совсем одни. Она подошла к окну и сквозь щель в ставнях увидела, что часовые разговаривают, стоя в некотором отдалении от дома.

– Да, дорогая сестра! – вскричала она. – Я спасу тебя – я смогу! Скорее, поменяемся одеждой! Нельзя терять времени! Переоденемся – и я... и ты сбежишь в моем облачении.

– А ты останешься здесь и погибнешь?

– Они не посмеют убить невинную – убить монахиню! Не бойся за меня – мне ничего не грозит.

Анина без споров повиновалась сестре; однако пальцы ее дрожали и путались в завязках платья. Мария была бледна, но спокойна и вполне владела собой. Длинные волосы сестры она собрала в узел и прикрыла покрывалом, сама расшнуровала на ней лиф, помогла надеть монашеское одеяние и с величайшим тщанием расправила все его складки; затем – куда более торопливо – надела на себя платье сестры, снова, после долгих лет вернувшись к привычному ей костюму *contadina*. Анина стояла, дрожа и плача, едва слыша наставления сестры, которая учила ее как можно скорее вернуться домой, а затем, под водительством отца, искать защиты в святой обители. Охранник открыл дверь. Анина в ужасе прильнула к сестре – а та вполголоса уговаривала ее взять себя в руки.

Охранник объявил, что свидание окончено. Медлить более нельзя: пришел священник, чтобы исповедовать узницу.

Мысль о предсмертной исповеди для Анины была ужасна, а Марии подала надежду.

– Святой отец не даст меня в обиду, – прошептала она. – Не бойся! Беги к отцу!

Анина подчинилась, почти ничего не сознавая; рыдая, закрыв лицо платком, она прошла мимо солдат; они заперли дверь; узница бросилась к окну – и увидела, как ее сестра неверными шагами спускается с холма и исчезает за поворотом. Монахиня упала на колени; по лицу ее

струился холодный пот. Ее снедал страх: Мария знала, что французские военные не питают особого почтения к монашеству – у себя во Франции они разоряли монастыри и оскверняли церкви. Смиляются ли они над ней? Пощадят ли невиновную? Увы! Ведь и Анина невиновна! Единственное преступление сестры в том, что нарушила приказ; но и Мария виновна в том же самом.

– Что ж, не стану поддаваться страху, – сказала себе Мария. – Быть может, я более сестры готова к смерти. Иисусе, прости мне мои грехи, ибо едва ли я доживу до конца этого дня!

Тем временем Анина, дрожа, медленно спускалась с холма. Она страшилась, что ее обман раскроют, страшилась за сестру – и более всего сейчас страшилась гнева и упреков отца. Это последнее опасение разрослось в ней до невыносимого ужаса, и она решила не возвращаться домой, а вместо этого, обойдя холмы кругом, самой пробраться в Альбано, где надеялась найти защиту у своего пастыря и духовника. Избегая открытых дорог и тропинок, пробираясь лесом наугад, неожиданно для себя она вышла к Рокко-Джоване. Всмотрелась в полуразрушенные дома и колокольню без колоколов, напрягая глаза в надежде увидеть его, виновника всех ее несчастий. Вдруг до слуха ее донесся негромкий, но отчетливый свист, раздавшийся где-то неподалеку. Анина вздрогнула и обернулась – ей вспомнился тот вечер, когда они с Доменико виделись в последний раз; тогда его позвали прочь от нее таким же свистом. Звук повторился, затем еще и еще, с разных сторон. Анина замерла в страхе, сцепив руки, грудь ее взволнованно вздымалась. Вдруг из-за ближайшего куста высунулась всклокоченная черноволосая голова, уставилась на нее дико блестящими глазами. Анина пронзительно закричала – но, прежде чем успела повторить свой крик, сзади выпрыгнули на нее из кустов трое мужчин, схватили за руки, замотали тряпкой лицо и поволокли вверх по склону.

По дороге похитители переговаривались между собой, и из их слов Анина поняла, в какой оказалась опасности. Очень жаль, говорили они, что французским отрядом не командует святой отец и его красные чулки¹⁹; тогда, схватив монашку, они могли бы диктовать ему условия! С грубыми шутками и прибаутками они втащили свою жертву в разоренную деревню. Мощеная улица под ногами подсказала Анине, что они уже в Рокко-Джоване, а изменившийся запах – что ее ввели в дом. Здесь ей развязали глаза. Что за жалкое, убогое зрелище предстало ее взору! Закопченные, выщербленные стены, пол, покрытый грязью и отбросами; из всей мебелировки – грубо сколоченный стол и сломанная скамья; листья кукурузы, грудой набросанные в углу, по-видимому, служили постелью, ибо на них, опустив голову на скрещенные руки, лежал человек. Анина оглядывалась на своих похитителей – и в каждом лице читала лишь свирепую решимость, еще более страшную от того, что лица эти были измождены голодом и лишениями.

– Ох, здесь меня никто не спасет! – вырвалось у нее.

Ее возглас разбудил человека, спящего на полу, он вскочил – это был Доменико! Но как он изменился! Глаза и щеки ввалились, волосы потускнели, лицо, полное ярости и отчаяния, немногим отличалось от мрачных физиономий его товарищей. Возможно ли, чтобы это был ее возлюбленный?

Узнав Анину в непривычном платье, он потребовал объяснений. Услышав, что использовать добычу им не удастся, разбойники сперва пришли в ярость; но, когда Анина рассказала, какой опасности подверглась, пытаясь принести им еды, они поклялись самыми страшными клятвами, что не причинят ей никакого вреда и, ежели она захочет остаться с ними, будут обращаться с ней честно и достойно, как с равной. Невинная девушка содрогнулась.

– Отпустите меня, – вскричала она, – дайте мне бежать и навеки укрыться в монастыре!

С мукой в глазах Доменико взглянул на нее.

– Бедное дитя! – отвечал он. – Пусть будет так: беги, спасайся; Бог не допустит тебе нового зла; и без того слишком многое погибло. – И, решительно повернувшись к своим това-

¹⁹ Имеются в виду папа и кардиналы.

рищам, продолжал: – Вы слышали ее историю. Ее приговорили к расстрелу за то, что она несла нам еду; сестра заняла ее место. Мы знаем французов: одна жертва для них ничем не хуже другой, и Мария в их руках погибнет. Что ж, попробуем ее спасти! Наше время истекло: либо мы умрем, как мужчины, либо сдохнем с голоду, как собаки. У нас есть еще патроны; у нас еще остались силы. К оружию! Нападём на этих трусов, освободим узницу, бежим – или умрем!

Именно такой толчок требовался разбойникам, чтобы от отчаяния перейти к новой надежде. С видом свирепой решимости они начали готовиться к атаке. Тем временем Доменико вывел Анину из дома, дошел с ней до спуска с холма и спросил, куда же она теперь пойдет. В Альбано, отвечала она. На это он заметил:

– Едва ли там безопасно. Прошу тебя, послушай моего совета: возьми эти пиастры, найми первую повозку, какую найдешь, и поспеши в Рим, в монастырь Санта-Кьяры – ради всего святого, не задерживайся в наших краях!

– Я все исполню, Доменико, – отвечала она, – но денег твоих взять не могу; слишком дорого они тебе достались; не бойся, я спокойно доберусь до Рима и без этого злосчастного серебра.

Товарищи Доменико уже громко звали его – на уговоры времени не было; он швырнул презренные монеты к ее ногам.

– Нина, прощай навсегда! – воскликнул он. – Пусть следующая твоя любовь станет счастливее!

– Никогда! – отвечала она. – Бог спас меня в этом наряде, и снять его теперь будет святотатством. Никогда я не выйду из стен Санта-Кьяры!

Доменико немного проводил ее вниз по холму, пока на вершине не показались, громко зовя, его товарищи.

– Помоги тебе Бог! – воскликнул он. – Спешి в монастырь – еще до заката к тебе присоединится Мария. Прощай! – Торопливо поцеловал ей руку и бросился вверх по склону, к нетерпеливо ожидавшим его друзьям.

Долго ждал возвращения дочерей бедный Андреа. Безлистые деревья и чистый прозрачный воздух позволяли разглядеть каждую мелочь, однако их очертания так и не показались на склоне холма. Судя по направлению теней, время уже перевалило за полдень, когда, снедаемый нетерпением, коего не мог более сдерживать, Андреа начал взбираться по склону к тому месту, где схватили Анину. Тропа, по которой он поднимался, отчасти совпала с тем путем, что выбрала его дочь, спеша в Рим. Они встретились; сперва отец разглядел лишь монашеское платье – и то, что дочь одна; от страха и стыда Анина закрыла лицо руками; но когда, приняв ее за Марию, он начал в гневе и тоске спрашивать, где же ее младшая сестренка – та уронила руки, не в силах поднять глаза, из коих струились слезы.

– Несчастная! – вскричал Андреа. – Где твоя сестра?

Анина указала на тюремную хижину, едва различимую на крутом склоне холма.

– В безопасности, – ответила она. – Мария спасла меня; но ее они не осмелятся убить.

– Благослови ее Господь за это благое дело! – пламенно воскликнул старик. – Беги же, скорее – а я пойду к ней!

На том они и разошлись. Старик обогнул холм и потерял из виду хижину, где держали под стражей его дитя: он был в годах, а подъем крут и нелегок. Убогая постройка, с которой он не сводил глаз, скрылась за каменным выступом – а несколько мгновений спустя с той стороны грянул выстрел. Посох выпал из рук старика, ноги задрожали и подкосились; минуты мертвого молчания протекли, прежде чем он овладел собой и смог двигаться дальше; он шел с глазами, полными слез, и на следующем повороте снова увидел хижину. На открытой площадке перед ней стояла группа солдат, выстроившись в шеренгу, словно ожидая нападения. Еще несколько секунд – и откуда-то сверху загрели выстрелы, солдаты начали стрелять в ответ, и все заволокло дымом. Андреа все взбирался вверх по холму, страстно желая узнать,

что же стало с его дочерью – а наверху шла ожесточенная перестрелка. Время от времени, в паузах между выстрелами и эхом, гулко разносящимся в горах, доносилось до него погребальное пение; и вот на очередном повороте Андреа столкнулся со священником и группой *contadini*, несущих большой крест и тело на носилках. В безумном порыве старик ринулся вперед; крестьяне с благоговением и скорбью опустили свой груз – лицо мертвой было открыто, – и несчастный пал на тело своей убитой дочери.

Здесь графиня Атанасия остановилась, взволнованная своей же историей. Воцарилось долгое молчание, и наконец кто-то из слушателей заметил:

– Так Мария пала жертвой собственной доброты.

– Французы, – продолжала графиня, – не проявили уважения к ее святому призванию: одна крестьянская девушка была для них ничем не лучше другой. Им требовалось вселить страх в души окрестных крестьян, и для этого подходила любая жертва. Однако вскоре после того, как пуля пронзила ее сердце и безвинный дух вознесся на Небеса, в объятия святых, Доменико и его товарищи сбежали вниз по холму, чтобы отомстить за нее и за себя. Битва была свирепой и кровопролитной: французы потеряли двадцать солдат, а из *banditti* не ушел ни один – и Доменико, первым шедший в атаку, первым и пал.

– А что случилось с Аниной и ее отцом? – спросила я.

– Если пожелаете, – отвечала графиня, – можем заехать к ним на обратном пути. Анина теперь монахиня в Санта-Кьяре. Неустанные дела милосердия и благочестия помогли ей стяжать смирение и спокойствие духа. Каждый день она возносит молитвы за душу Доменико – и надеется, при посредничестве Святой Девы, соединиться с ним в мире ином.

Андреа уже очень стар; он пережил память о своих страданиях, но черпает утешение в любви и заботе дочери, оставшейся в живых. Но когда я смотрю на его дом там, на дальнем берегу озера, и вспоминаю смеющееся личико Анины среди виноградных лоз, то вздрагиваю, думая о страсти, что покрыла ее щеки бледностью, мысли обратила к смерти, а из всех желаний оставила единственное – найти покой в могиле.

Фердинандо Эболи

Наполеоновские войны давно позади, их потрясения и чудеса быстро изглаживаются из нашей памяти; какими-то обломками древней истории кажутся нашим детям имена бывших покорителей Европы. То время было романтичнее нынешнего: судьбы, отмеченные революцией или военным вторжением, были полны приключений – и кто путешествует по местам, где происходили эти события, тот и сейчас может услышать странные и чудесные истории, в коих действительность столь похожа на выдумку, что, при всем увлечении рассказом, мы не в силах вполне поверить рассказчику. Именно такую историю услышал я в Неаполе. Верно, ее герои пострадали не от превратностей войны – и все же кажется невероятным, что подобные события могли произойти при ярком свете мирного дня.

Когда Мюрат, в то время именуемый Иоахимом, королем неаполитанским, начал собирать свои итальянские полки, несколько молодых дворян, до того не многим отличавшихся от сельских виноградарей, воодушевленные любовью к оружию, встали под его знамена, мечтая о чести и воинской славе. Был среди них и молодой граф Эболи. Отец этого знатного юноши последовал за Фердинандом на Сицилию; однако земли свои, в основном лежащие близ Салерно, он, разумеется, желал сохранить – и, слыша, что французское правительство готово вести его страну к славе и процветанию, не раз сожалел о том, что ушел в изгнание вместе с законным, но бездарным королем. На смертном одре он завещал сыну вернуться в Неаполь, обратиться там к маркизу Спине, своему старому и надежному другу, ныне занимавшему важный пост в правительстве Мюрата, и через его посредство примириться с новым королем. Все это без труда совершилось. Юному графу позволили вступить во владение отцовским наследством, а вскоре – еще одна улыбка судьбы – он обручился с единственной дочерью маркиза Спины. Свадьбу отложили до окончания грядущей военной кампании.

Армия уже выступала в поход, и графу Эболи удалось получить лишь краткий отпуск – провести на вилле будущего тестя несколько часов, а затем надолго расстаться с ним и со своей нареченной. Вилла располагалась на одном из отрогов Апеннин, к северу от Салерно; оттуда открывался вид на калабрийскую равнину, Пестум и далее – на голубые просторы Средиземного моря. Обрывистый склон, шумный горный поток и падубовая роща добавляли прелести этим живописным местам. Граф Эболи верхом на своем скакуне бодро поднимался по горной дороге; энергия юности и большие надежды не давали ему медлить. На вилле он задержался недолго. Краткие наставления и благословение от маркиза, нежное, увлажненное слезами прощание с прекрасной Адалиндой – вот те воспоминания, что предстояло ему увезти с собой, что должны были придать ему мужества в опасности и надежды в разлуке. Солнце едва скрылось за скалами отдаленного острова Истрии, когда, поцеловав руку своей даме, граф наконец произнес: «Addio!»²⁰ – и медленно, задумчиво отправился в обратный путь.

В тот вечер Адалинда рано ушла к себе в покои и отпустила горничных; а затем, снедаемая тревогой и надеждой, распахнула стеклянную дверь, ведущую на балкон, что нависал над горным ручьем. Неумолчное журчание этого потока часто служило ей колыбельной, хотя воды его скрывали от взора могучие падубы, чьи верхушки вздымались над парапетом и затеняли балкон.

Склонив голову на руку, думала Адалинда об опасностях, грозящих ее возлюбленному, о своем грядущем одиночестве, представляла себе его письма, а затем возвращение. Но вдруг какой-то шорох коснулся ее слуха. Быть может, в ветвях падубов шумит ветер? Нет: ни одно, даже самое слабое дуновение не колыхало ее вуаль, не тревожило пышные локоны, что падали на плечи под тяжестью собственной красоты. Шорох повторился. Что бы это значило? Кровь

²⁰ Прощайте! (*ит.*)

отхлынула от ее щек, руки задрожали. Вдруг закачалась верхушка ближайшего дерева; ветви раздвинулись, и в слабом звездном свете возникла между ними мужская фигура. Незнакомец готовился перепрыгнуть на балкон. О ужас! Но тут же Адалинда услышала нежный голос возлюбленного: «Не бойся!» – а в следующий миг и сам он стоял рядом, успокаивал ее страхи и молил прийти в себя, ибо изумление, ужас и радость, пережитые почти одновременно, едва не лишили чувств это нежное создание. Обвив рукою ее стан, жених Адалинды изливал тысячи ласковых слов, тысячи страстных заверений и любовных клятв; она плакала от волнения, прижавшись к его плечу, а он целовал ей руки и взирал на нее с пылким обожанием.

Немного успокоившись, они сели рядом. Стыдливый румянец играл на ее щеках – его взор светился радостью и торжеством, ибо ни разу еще Адалинда не оставалась с ним наедине, ни разу прежде не слышала ничем не стесненных признаний. Поистине настал час Любви. Звезды мерцали на кровле ее вечного храма; шум ручья, тепло летней ночи, таинственный мрак вокруг – все гласило, что ничто не потревожит влюбленных, и манило их обещаниями блаженства. Они говорили о том, что сердца их и в разлуке не утратят таинственную связь, о радости грядущей встречи и о том, что будущее сулит им ничем не омраченное счастье.

Наконец наступил миг разлуки.

– Один лишь локон этих шелковистых волос! – взмолился юноша, перебирая пальцами пышные кудри девы. – Я буду хранить его у сердца – пусть он защитит меня от сабель и ядер врага! – И он извлек из ножен острый кинжал. – Пусть смертоносное оружие послужит делу любви! – с такими словами юноша срезал локон, и в ту же секунду на прекрасную руку его дамы закапала кровь.

В ответ на встревоженные расспросы юноша показал глубокую царапину: он нечаянно порезал себе левую руку. Вначале он хотел удалиться со своей наградой, но, повинувшись нежным уговорам Адалинды, позволил перевязать себе рану; полусмеясь, полудосадуя, она обвязала ему руку лентой со своего платья.

– Теперь прощай! – воскликнул он. – До рассвета мне нужно проскакать двадцать миль, а, судя по тому, как клонится к горизонту Большая Медведица, полночь уже миновала.

Спуск был труден – но юноша легко добрался до земли, и скоро сладостные звуки песни, летящие из долины так, как возносится к небесам дым от приношения на алтаре, возвестили нетерпеливому слуху Адалинды, что возлюбленный ее в безопасности.

Когда собираешь сведения от очевидцев, труднее всего бывает установить даты. Так вышло и в этот раз: я так и не смог определить, когда именно произошли все эти события. Очевидно, они относятся ко времени царствования Мюрата в Неаполитанском королевстве. Известно, что граф Эболи вступил в его войско младшим офицером, вышел в поход вместе с прочей армией и отличился в боях – но неизвестно, в какой стране и в каком сражении проявил себя столь достойно, что был на месте произведен в капитаны.

Вскоре после этого, когда граф Эболи со своей ротой стоял на севере Италии, однажды поздним вечером Иоахим прислал за ним нарочного и доверил секретную миссию. Молодому офицеру предстояло пробраться по сельской местности, захваченной врагом, в город, где стояли французы, и передать депешу. Поручение было срочное: отправиться в путь следовало той же ночью и вернуться на следующий день. Сам король вручил ему депешу, назвал пароль – и юный граф скромно, но твердо заверил, что погибнет, выполняя задание, или вернется с победой.

Стояла ночь, и на западе клонился к горизонту месяц, когда граф Фердинандо Эболи, оседлав любимого коня, быстрым галопом проскакал по городским улицам, а затем, следуя данным ему указаниям, помчался напрямик через поля и виноградники, подальше от проезжих дорог. Стояла чудная тихая ночь; сон и покой объял землю; забылись дремотой кровавые псы войны, и, казалось, в этот молчаливый час в мире бодрствует только любовь. Наш моло-

дой герой, воодушевленный надеждой на славу, мчался вперед: мысленному взору его представляли упоительные картины воинских почестей и любви. Вдруг отдаленный звук вырвал его из сладостных фантазий; он придержал коня и прислушался. Чужие голоса! Распознав немецкую речь, граф свернул с тропы и поехал по бездорожью. Но голоса врагов и топот копыт приближались. Не колеблясь, Эболи спешил, привязал к дереву коня и стал пробираться к краю поля, надеясь уйти незамеченным. Около часа он медленно продвигался вперед и наконец достиг крутого берега реки, что, словно граница двух государств, отделяла землю, захваченную врагом, от территории, где гонцу более не угрожала опасность. Верхом на лошади граф легко переправился бы на другой берег – теперь же приходилось перебираться вплавь. Он взял в руку депешу, скинул плащ и хотел уже прыгнуть в воду, как вдруг из непроницаемой тени argine²¹ кто-то вынырнул ему навстречу. Невидимые руки схватили его, бросили наземь, скрутили, заткнули рот, завязали глаза – втокнули в лодку, и суденышко со страшной быстротой понеслось вниз по течению.

Трудно было счесть это простым совпадением – судя по всему, подстерегали именно его; однако поначалу Эболи решил, что попал в плен к австрийцам. Но пока он тщетно пытался понять, куда они плывут, суденышко ткнулось в берег, его выволокли из лодки, куда-то потащили, и скоро изменение воздуха подсказало Эболи, что он в доме. Здесь его быстро и аккуратно, в полном молчании раздели, сорвали с пальцев два кольца, набросили сверху какие-то тряпки; удаляющихся шагов он не слышал – но скоро услышал вдалеке плеск весел и понял, что остался один.

Он лежал, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, единственное облегчение видя в том, что вместо прежнего кляпа похититель – или похитители – заткнули ему рот скрученным носовым платком. Долгие часы провел он в мучениях, извиваясь всем телом, сперва в тщетных попытках освободиться, затем просто от ярости, – разрываясь между гневом, нетерпением и отчаянием. Депешу у него отняли, а срок, когда его собственное появление еще могло хоть немного поправить дело, быстро истекал. Наступил рассвет: солнечные лучи не достигали завязанных глаз, однако Эболи ощущал их тепло. Когда перевалило за полдень, его начал мучить голод; поначалу юноша, поглощенный большим из своих несчастий, не обращал внимания на меньшее, но, по мере того как день клонился к вечеру, это чувство брало в нем верх над остальными. Близилась ночь; уже не раз и не два Эболи содрогался при мысли о том, как останется здесь, всеми забытый, и, быть может, умрет от голода, как вдруг до слуха его долетел веселый женский голос и детский смех. Он понял, что кто-то входит в дом; ощутил, как рот его освобождают от кляпа; услышал голос, спрашивающий на его родном языке, кто он и как здесь оказался. «Banditti!»²² – только и сумел ответить граф. Неизвестные спасители быстро перерезали его путы и сняли повязку с глаз. Поначалу он ничего не мог различить; но чаша речной воды, поднесенная к губам, помогла Эболи прийти в себя, и он увидел, что находится в ветхой пастушьей сторожке, а рядом с ним – никого, кроме крестьянской девушки и мальчика, которые и стали его освободителями. Они растерли ему лодыжки и запястья, паренек предложил хлеба и яиц; подкрепившись и часок отдохнув, Фердинандо достаточно восстановил самообладание, чтобы обдумать свое приключение и решить, что делать дальше.

Он осмотрел платье, оставленное ему взамен украденного. Сущие лохмотья – дряннее и не придумаешь! Однако нельзя было терять время: единственное, что ему теперь оставалось – как можно скорее вернуться в штаб-квартиру неаполитанской армии и доложить о своей неудаче королю.

Долго описывать обратный путь Фердинанда, еще дольше рассказывать о том, как кипело его сердце негодованием и отчаянием. Всю ночь без отдыха он шел пешком, и в три часа утра

²¹ Плотины, запруда (ит.).

²² Разбойники (ит.).

достиг города, где стоял тогда Иоахим. У ворот его остановила стража: он произнес пароль, сообщенный Мюратом – и немедленно попал под арест. Тщетно Эболи называл свое имя и звание, тщетно твердил, что ему как можно скорее нужно увидеться с королем! Солдаты отвели его в караульную, а дежуривший там офицер, презрительно выслушав его объяснения, объявил в ответ, что граф Фердинандо Эболи вернулся три часа назад и приказал допросить задержанного как шпиона. Эболи громко настаивал, что его имя присвоил какой-то самозванец; пока он рассказывал свою историю, в караульную вошел еще один офицер, знавший его в лицо; подошли и другие, также с ним знакомые; а поскольку самозванца никто, кроме дежурного офицера, не видал, Фердинанда начали слушать со вниманием и верить ему.

Молодой француз из высших чинов, в чьи обязанности входило делать королю утренний доклад, сообщил о происшествии самому Мюрату. История выходила столь странная, что король послал за молодым графом. Всего несколькими часами ранее он видел его двойника, выслушал отчет о безупречно исполненной миссии – и тогда у него не возникло никаких сомнений; однако внешность юного графа так его поразила, что он приказал послать за тем, кто предстал перед ним под именем графа Эболи несколько часов назад. Стоя перед королем, Фердинанд уголком глаза поймал свое отражение в большом роскошном зеркале. Всклоченные волосы, налитые кровью глаза, изможденное лицо, грубые продранные лохмотья – все это лишило его облик привычного благородства; и еще менее походил он на блестящего графа Эболи, когда, к величайшему его изумлению и смутению, перед ним предстал двойник.

Все внешние признаки изобличали в нем высокое происхождение; и на того, чье имя присвоил, он походил так, что невозможно было их различить. Те же каштановые волосы и густые брови, тот же мягкий и живой взгляд карих глаз; и даже голос – словно эхо другого голоса. Достоинство и самообладание, с коим держался притворщик, заставили зрителей склониться на его сторону. Когда ему объявили о странном появлении второго графа Эболи, он рассмеялся с чистосердечным добродушием и, повернувшись к Фердинанду, отвечал:

– Польщен, что вы решили изобразить именно меня! Однако прошу извинить: с самим собою я с детства сроднился и как-то не готов обменять себя на вас!

Фердинанд хотел ответить – но фальшивый граф уже повернулся к королю и заговорил с достоинством:

– Быть может, Ваше Величество разрешит наш спор? Ссориться и браниться с такого рода людьми не в моих правилах.

Раздраженный таким явным презрением, Фердинанд немедленно бросил обманщику вызов. Тот отвечал: ежели король и товарищи-офицеры не сочтут, что он унижает себя и позорит армию, сражаясь с безвестным бродягой, то охотно преподаст ему урок, пусть даже и с опасностью для собственной жизни. Но король, задав еще несколько вопросов и придя к выводу, что самозванец здесь – злополучный граф, в самых суровых и резких выражениях распек его за эту бесстыдную выходку, объявил, что только по монаршему милосердию его не расстреляют как шпиона, и приказал выпроводить за городские ворота, добавив, что, если негодяй осмелится еще где-нибудь выдавать себя за графа, его ждет самая суровая кара.

Едва ли возможно, не имея сильного воображения и опыта собственных несчастий, представить, что творилось на душе у бедного Фердинанда. С высоты своего положения, из мира славы, надежды и любви он рухнул на дно нищеты и бесчестия. Оскорбления торжествующего соперника, гнев и угрозы недавно столь благосклонного к нему суверена еще звенели у него в ушах, и каждый нерв содрогался в муке. По счастью, в юности люди крепки духом, и самая страшная беда в глазах юноши нередко подобна болезненному сну, что смягчается и рассеивается при пробуждении. В борьбе с нестерпимым горем надежда и мужество одержали верх – и вновь ожили в его сердце. Скоро он принял решение. Он отправится в Неаполь, расскажет свою историю маркизу Спине и через его посредничество добьется, чтобы король хотя бы беспристрастно его выслушал.

Впрочем, в положении злосчастливого графа не так-то легко было воплотить это решение в жизнь. Он без гроша, в убогом одеянии; у него нет в этих краях ни родственника, ни друга, а все прежние знакомые видят в нем теперь самого наглого из мошенников. Однако мужество его не покинуло. Приближалась осень, и щедрая итальянская почва обильно снабжала путника орехами, дикой земляникой и виноградом. Шел он напрямик через холмы, избегая городов и сел, да и любого человеческого жилья; старался делать переходы ночью, в часы, когда королевские солдаты стоят на посту только в больших городах, а в сельской местности расходятся по своим квартирам. Трудно сказать, как удалось ему беспрепятственно добраться от одного конца Италии до другого; но несомненно, что несколько недель спустя он появился на пороге виллы Спины.

С немалым трудом добился он аудиенции у маркиза; тот встретил его стоя, окинув вопрошительным взглядом, явно не признав благородного юношу. Фердинанд обратился с просьбой переговорить с ним наедине, ибо в зале присутствовало еще несколько гостей. Голос его поразила маркиза; тот согласился и перешел с ним в соседние покои. Здесь Фердинанд назвал себя и начал, торопясь и дрожа от волнения, излагать историю своих бедствий – как вдруг послышались топот копыт, громкий звон колокольчика, и дворецкий возвестил:

– Граф Фердинандо Эболи!

– Это я! – бледнея, вскричал юноша.

Странные слова – и еще более странными показались они, когда вошел объявленный гость. По мраморному полу просторного холла шагала точная копия молодого графа, чье имя присвоил самозванец – точь-в-точь таким же он покинул этот дом несколько месяцев назад! Он склонился перед бароном в изящном легком поклоне, затем с видом некоторого удивления и несомненного негодования обернулся к Фердинанду и воскликнул:

– Снова ты?!

Фердинанд выпрямился во весь рост. Несмотря на утомление, скудную пищу и нищенскую одежду, вид его был полон достоинства. Маркиз пристально смотрел на него: несомненно, он отметил и гордую осанку, и выразительное лицо – знакомые черты Эболи. Но смятение охватило его, когда, обернувшись, он увидел, словно в зеркале, те же черты, то же выражение лица. С гордостью и некоторым нетерпением вновь пришедший вытерпел это сравнение; затем коротко и раздраженно объявил маркизу, что этот наглый мошенник уже во второй раз пытается выдать себя за графа Эболи – в первый раз трюк не удался, но он, как видно, решил попробовать еще.

– Боюсь, нелегко будет, – добавил он со смехом, – доказать, что я – это я, против слова какого-то briscone²³, у которого нет за душой ничего, кроме внешнего сходства со мной и несравненного бесстыдства! – А затем со злобной усмешкой добавил: – Ты, приятель, заставляешь меня усомниться в себе: можно ли поверить, что человек, так похожий на меня, ничего лучшего в жизни не добился?

При этом язвительном выпаде кровь прихлынула к щекам Фердинанда. Чрезвычайным усилием воли он удержал себя от того, чтобы броситься на врага – лишь с уст сорвался возглас:

– Подлый самозванец!

Барон приказал разгневанному юноше умолкнуть, но затем, тронутый его порывом, так напомнившим ему Фердинанда, добавил уже мягче:

– Прошу вас из уважения ко мне сохранять терпение; не бойтесь, я рассужу дело беспристрастно.

После этого, повернувшись к ложному Эболи, он добавил, что не сомневается в том, кто здесь истинный граф, и просит извинить его прежнюю нерешительность. Тот поначалу смотрел гневно, но наконец расхохотался и, прося извинить его дурные манеры, продолжал от

²³ Плут (ит.).

души смеяться над замешательством маркиза. Эта веселость, как видно, вызвала у его слушателя больше доверия, чем негодующие взгляды бедного Фердинанда. Затем фальшивый граф поведал, что после угроз короля никак не ожидал развлечься повторной постановкой этого фарса. Он получил отпуск, провел несколько дней в собственном палаццо в Неаполе, а дальше рассчитывал навестить будущего тестя... До того Фердинанд слушал молча, с любопытством, жадно стремясь как можно больше узнать о действиях и мотивах своего соперника; но при этих последних словах не мог долее сдерживать себя.

– Что?! – вскричал он. – Ты занял мое место в отцовском доме, осмелился распоряжаться в покоях моих предков?

Слезы выступили у юноши, и он закрыл глаза рукой. Лицо его соперника вспыхнуло гневом и гордостью.

– Клянусь предвечным Богом и его святым крестом, – отвечал он, – этот дворец – дворец моего отца, эти покои принадлежали *моим* предкам!

Фердинанд возрился на него в изумлении.

– Неужто не развернется земля, – проговорил он, – и не поглотит клятвопреступника?

Затем по велению маркиза он рассказал о своих приключениях; соперник, слушая его, все более хмурился. Маркиз смотрел на обоих – и не мог освободиться от сомнений. Он поворачивался то к одному, то к другому; в бедном Фердинанде, несмотря на его дикий и растерзанный вид, ощущалось нечто такое, что не давало старшему другу заклеить его как самозванца; но объявить мошенником второго – юношу самого благородного вида?.. Где найти для этого основания? Наконец маркиз позвал горничную и приказал привести сюда свою дочь.

– Это решение, – объявил он, – я оставляю на суд тонкому суждению женского ума и проницательности любящего сердца.

Молодые люди разом улыбнулись – одинаковой улыбкой: оба предвкушали свое торжество. Барон по-прежнему не понимал, что и думать.

Вошла Адалинда, сияя цветущей юностью и счастьем: ей сообщили о приезде графа Эболи. Быстро повернувшись к тому из двоих, кто больше походил на того, кого она ожидала увидеть, – но, когда знакомый голос назвал ее по имени, в изумлении возрилась на точную копию своего возлюбленного. Отец, взяв ее за руку, вкратце разъяснил эту загадку и попросил дочь саму определить, который из двоих – ее нареченный супруг.

– Адалинда, – заговорил Фердинанд, – не отвергай меня за то, что я являюсь перед тобой в несчастье и позоре. Твоя любовь, твоя доброта восстановят меня и вернут мне счастье и благополучие!

– Не могу сказать, откуда я это знаю, – проговорила изумленная девушка, – но, несомненно, граф Эболи – вы!

– Адалинда, – воскликнул его молодой соперник, – не трать речей на этого негодяя! Моя прекрасная, моя обманутая любовь; трепещу, говоря об этом, но одним словом я могу доказать тебе, что Эболи – я!

– Адалинда, – вновь заговорил Фердинанд, – я надел тебе на палец обручальное кольцо; мне ты дала перед Богом обет верности!

Фальшивый граф приблизился к даме и, преклонив колено, извлек из-под мундира медальон, а в нем локон, перевязанный зеленой лентой, которую Адалинда узнала, и указал на крохотный шрам на запястье левой руки.

Девушка покраснела до корней волос и, обернувшись к отцу и указывая на коленопреклоненного юношу, объявила:

– Вот Фердинанд!

Все протесты злополучного Эболи были тщетны. Маркиз уже собирался бросить несчастного в подземелье и лишь по настоятельной просьбе его соперника пощадил – однако с позором вышвырнул за порог. Ярость дикого зверя, плененного и посаженного на цепь, не сравнится с

той бурей негодования, что бушевала теперь в сердце Фердинанда. К душевной муке его прибавились телесные страдания от утомления и поста: на несколько часов им овладело безумие – если можно назвать безумцем того, кто и в исступлении не в силах забыть о причине своих мучений. Но вот, словно просвет в тучах, среди бури чувств проступила спасительная мысль: вернуться в отцовский дом, заявить на него свои права и, опустошив сокровищницу предков, взять верх над противником. Все оставшиеся силы собрал Фердинанд, чтобы как можно скорее добраться до Неаполя, вошел в свой фамильный дворец – и здесь узнали и приветствовали его изумленные слуги.

Прежде всего Фердинанд нашел в кабинете миниатюрный портрет своего отца в рамке, усыпанной драгоценными камнями; его он взял с собой, чтобы призывать на помощь отцовский дух. Отдых и купание отчасти помогли ему восстановить силы; с почти ребяческой радостью он ждал возможности наконец-то провести ночь в мире под кровлей отцовского дома. Но судьба судила иначе. Еще до полуночи зазвонил большой колокол: соперник его явился в палаццо как хозяин, в сопровождении маркиза Спины. Дальнейшее угадать нетрудно. Маркиз, казалось, негодовал еще более фальшивого Эболи. Он потребовал заточить несчастного юношу в тюрьму. На нем нашли портрет, стоявший целое состояние, и это дало повод обвинить его в грабеже. Фердинанд был передан в руки полиции и брошен в подземелье. Не хочу подробно останавливаться на всем последующем. Он предстал перед судом, был признан виновным и приговорен к пожизненной каторге.

Накануне дня, когда Фердинанда должны были отправить из неаполитанской тюрьмы на работу на дорогах Калабрии, в темнице его навестил соперник. Несколько мгновений оба в молчании смотрели друг на друга. Самозванец взирал на узника со смесью гордости и сострадания; в сердце его, как видно, происходила какая-то борьба. Ответный взгляд Фердинанда был спокоен, холоден и полон достоинства. Он не покорился своей тяжелой судьбе, но скорее бы умер, чем дал знать о своем отчаянии жестокому и торжествующему врагу. Наконец самозванец вздрогнул, словно от внезапной боли, и отвернулся, пытаясь восстановить привычное жестокосердие, до сих пор поддерживавшее его в этом преступном предприятии. Фердинанд заговорил первым.

– Что нужно торжествующему злодею от его невинной жертвы?

– Не смей применять ко мне подобные определения, – высокомерно ответил его посетитель, – иначе предоставлю тебя твоей судьбе: я – тот, кем себя называю.

– К чему это притворство? – с презрением возразил Фердинанд. – Впрочем, быть может, здешние стены имеют уши.

– По крайней мере, Небеса не глухи, – ответил обманщик. – Благодарение Небесам: они знают о моих притязаниях – и благосклонно их принимают. Но оставим эти пустые споры. Что привело меня сюда? Сострадание – нежелание видеть того, кто так на меня похож, в столь безысходной беде – быть может, дурацкий каприз. Не все ли равно? Так или иначе, можешь себя поздравить. Засовы на дверях открыты; вот кошель, полный золота; исполни одно простое условие – и ты свободен.

– Что за условие?

– Подпиши эту бумагу.

И он протянул Фердинанду лист исписанной бумаги, где содержалось признание во всех вменяемых ему преступлениях. Рука обманщика дрожала, в чертах лица и в беспокойных движениях глаз ощущались смятение и тревога. Хотел бы Фердинанд одним мощным словом, блистающим, как молния, и гремящим, как гром, излить все пламя своего негодования; но слова всегда слабы, и спокойствие таит в себе больше силы, чем самая свирепая буря. Не говоря ни слова, он разорвал бумагу надвое и бросил к ногам врага.

Вмиг переменив обращение, посетитель принялся пылко и красноречиво уговаривать его согласиться. Фердинанд отвечал лишь: «Оставь меня». Порой случайное слово или полслова

срывалось с губ, но он вовремя себя останавливал. И все же он не смог сдержать волнения, когда, желая заставить его подчиниться, фальшивый граф заверил, что Адалинда уже стала его женой. Невыносимая душевная боль потрясла бедного Фердинанда; однако он сохранил внешнее спокойствие – и по-прежнему на все доводы отвечал отказом. Наконец, исчерпав и средства убеждения, и угрозы, соперник его ушел; цель, ради которой он приходил, осталась неисполненной. А наутро, вместе со множеством разнообразного человеческого отребья, графа Фердинандо Эболи погнали в кандалах на негостеприимные калабрийские поля для участия в дорожных работах.

Дальнейшие события я изложу вкратце; подробный рассказ о них мог бы занять несколько томов. Заявление похитителя прав Фердинанда, что он женат на Адалинде, было, как и все прочее, ложью. Однако уже назначили день свадьбы, когда внезапная болезнь и затем смерть маркиза Спины заставила их отложить празднование. На первые месяцы траура Адалинда удалилась в замок, принадлежавший ее покойному отцу: он располагался близ Арпино, городка в Неаполитанском королевстве, в самом сердце Апеннин, милях в пятидесяти от столицы. До отъезда самозванец настойчиво убеждал ее согласиться на тайный брак – должно быть, стремился поскорее завладеть невестой, страшась, что за время долгого ожидания свадьбы какой-нибудь случай раскроет его обман. К тому же по стране ходили слухи, что с каторги бежал один из нынешних товарищей Фердинанда, известный разбойник, и что юный граф стал его спутником в побеге. Но Адалинда отказалась подчиниться настойчивым домогательствам возлюбленного и уединилась в замке с одной лишь престарелой тетушкой – слепой и глухой, зато отличной дуэньей. Лже-Эболи редко навещал свою госпожу; однако в искусстве строить козни он был мастером – и, как показали дальнейшие события, должно быть, почти все время невидимкой проводил в окрестностях замка. Различными путями и способами, не вызывая подозрений, сумел он заменить всех слуг Адалинды своими креатурами²⁴; так что, сама того не зная, она сделалась узницей в собственном доме.

Неизвестно, что первым заставило ее заподозрить обман. Адалинда обладала темпераментом истинной итальянки: томность и безмятежность в повседневной жизни соседствовали в ней с энергией и страстью, когда нечто пробуждало ее душу от сна. Едва в уме ее мелькнуло сомнение, она твердо решила добиться истины. Нескольких вопросов о былых сценах между нею и бедным Фердинандом оказалось достаточно. Свои вопросы Адалинда задала так внезапно и прямо, что застала обманщика врасплох: он смешался, начал запинаться и замедлил с ответом. Взгляды их встретились; в ее глазах он прочел свое разоблачение – она же прочла, что он понял свой промах. Взор самозванца сверкнул, благородные черты исказились в злобно-торжествующей усмешке – и все сомнения Адалинды развеялись. «Как могла я, – думала она, – принимать этого человека за моего доброго Эболи?» Снова их взоры встретились; выражение его глаз – особое выражение, ясно указывающее, что человек перед тобою играет чужую роль, – ужаснуло Адалинду, и она бросилась к себе в покои.

С решением она не медлила. Бессмысленно объяснять происшедшее старой тетке. Адалинда положила немедленно отправиться в Неаполь, броситься к ногам Иоахима, рассказать ему все и убедить в правдивости этой невероятной истории. Однако время для исполнения этого замысла было уже упущено. Обманщик сплел свою сеть – и Адалинда стала пленницей в собственном замке.

Избыток страха придал ей отваги, если не мужества. Она сама отправилась на поиски своего тюремщика. Всего пару минут назад легкомысленная юная девушка, наивная и покорная, как ребенок, и также не ведающая зла – теперь она, казалось, повзрослела и стала мудрее, словно за несколько секунд приобрела опыт долгих лет.

²⁴ Тот, кто занимает должность вследствие чьего-то покровительства. – *Примеч. ред.*

В разговоре Адалинда держалась осмотрительно и твердо; бессознательное превосходство невинности над преступлением придавало ее манерам спокойное величие. Виновник всех ее бед в первый миг дрогнул под ее взглядом. Поначалу он пытался стоять на своем и не признавал, что он не тот, за кого себя выдает; но энергия и красноречие истины взяли верх над искусным притворством. Наконец злодей был загнан в угол – и развернулся, словно олень перед охотниками, готовый защищаться. Теперь настал ее черед оробеть: сила и энергия мужчины сделали его господином положения. Он объявил правду: он – старший брат Фердинанда, незаконнорожденный сын графа Эболи. Мать его, жестоко обманутая графом, так и не простила своего погубителя: она воспитала сына в смертельной ненависти к отцу – и в убеждении, что все преимущества, коими наслаждается его более счастливый брат, по праву должны достаться ему. Образования он не получил почти никакого – однако обладал чисто итальянской одаренностью, умением схватывать на лету и способностью к актерству.

– Вы побледнели бы, как смерть, – говорил он своей трепещущей слушательнице, – решишь я описать все, что претерпел, чтобы достичь цели. Никому нельзя было доверять – я все исполнил сам. Что за славная победа, когда мы вдвоем – я и брат, отнявший у меня все, я благородный рыцарь, он униженный изгой – стояли пред лицом короля! И всем этим я обязан самому себе, собственной стойкости и упорству!

Вкратце рассказав свою историю, теперь он пытался добиться сочувствия Адалинды, что стояла, хмурясь и не поднимая на него глаз. Тысячью изъявлений страсти и знаков нежной привязанности старался он тронуть ее сердце. В конце концов, разве не его она любит? Не с ним ли виделась ночью на балконе виллы Спины? Здесь он беззастенчиво прибег к тем аргументам, что почти безотказно действуют на нежные женские сердца. Он напоминал, как бурным потоком изливалась навстречу друг другу их любовь – и щеки Адалинды окрашивал румянец; но все прочие чувства побеждал в ней ужас перед самозванцем. Он клялся, что, едва узы брака соединят их, он освободит Фердинанда, вернет ему доброе имя и титул – да что там, если она пожелает, и все состояние! Она холодно отвечала, что скорее разделит с невинным его цепи, чем с преступником – его преступление. Она потребовала вернуть ей свободу – но тут неукротимая, даже зверская натура, направившая обманщика на преступный путь, вырвалась наружу: страшные проклятия обрушил он на ее голову и поклялся, что она не выйдет из этого замка иначе, как его женой. Эта откровенная злоба и сознание своей власти ужаснули Адалинду; в глазах ее засверкало отвращение. Куда легче было бы ей умереть, чем в самой малости уступить человеку, хоть на миг давшему понять, как радуется его несокрушимая власть над беззащитной женщиной, оказавшейся в его руках! Адалинда поспешно вернулась к себе, с чувством, словно едва ускользнула от занесенного меча убийцы.

Немного поразмыслив, она нашла способ бежать прочь из этого ужаса. В гардеробной замка с незапамятных пор хранился наряд пажа ее матери; паж внезапно скончался, а костюм с блестящим шитьем, ни разу не надетый, остался здесь. Переодевшись в костюм пажа, Адалинда подобрала наверх и спрятала под берет роскошные темные локоны и даже, с каким-то горьким чувством, закрепила на перевязи дополнение к костюму – кинжал в ножнах.

Затем бесшумными шагами проскользнула по тайному коридору, соединяющему ее покои с замковой часовней. Давно отзвенел колокол, призывающий к вечерне – он звонил обыкновенно в четыре часа; стоял ноябрьский вечер, и не приходилось сомневаться, что не менее получаса прошло после захода солнца. Ключ от часовни у Адалинды был; миг – дверь открылась от прикосновения; еще миг – дверь захлопнута, ключ повернут в замке, и она свободна. Вокруг высятся поросшие лесом холмы, звезды тускло мерцают в небесах, воет меж замковых стен холодный зимний ветер; но страх перед врагом победил все иные страхи, и Адалинда – нежная маркиза, ни разу в жизни не отходившая от дома пешком далее чем на одну или две мили, – теперь в каком-то безудержном восторге бросилась куда глаза глядят по каменистой горной тропе; она шла много часов, пока не стоптала до дыр туфли, не натерла

себе ноги и не перестала понимать, куда идет. Рассвет застал ее посреди горного падубового леса: справа и слева – отроги Апеннин, и не видно ни людей, ни человеческого жилья.

Адалинда устала и проголодалась. С собой она взяла золото и драгоценности, однако не у кого было обменять их на еду. Ей вспоминались истории о *banditti* – но страшнее любых злодеев казался тот, от кого она бежала. Эта мысль, недолгий отдых и глоток воды из чистого горного родника вернули ей толику мужества, и она продолжила путь. Приближался полдень; а на юге Италии полуденное солнце, не скрытое за облаками, даже в ноябре опалает жаром, особенно тяжким для итальянок, привыкших скрываться от его лучей. Слабость овладела Адалиндой. В горных склонах, мимо которых лежал ее путь, кое-где виднелись отверстия, заросшие лавром и земляникой; в одну такую пещеру она вошла, чтобы там отдохнуть. За одной глубокой пещерой последовала другая, а за той – обширный грот, в который проникало солнце; посреди его стоял грубо сколоченный стол, а на столе – разное угощение, виноград и бутылка вина. Адалинда с тревогой огляделась – вокруг никого. Она присела за стол и, по-прежнему дрожа от страха, немного поела; затем облокотилась на стол, опустила голову на маленькую белоснежную руку, и густые черные волосы ее, выбившись из-под берета, упали на лоб и рассыпались по плечам. Весь вид ее воплощал усталость и дремоту; нежные черные глаза по временам – стоило ей вспомнить о своем жестоком жребии – наполнялись слезами. Причудливый, но изящный наряд, женственные формы, красота и прелесть этой задумчивой девы, сидящей в одиночестве посреди первобытной природы – все составляло чудную натуру для художника и картину для поэта.

– Она казалась существом из иного мира; серафимом – ангелом света и красоты; Ганимедом, бежавшим с небес на родную Иду. Не сразу узнал я, глядя со склона холма, в этом чудном создании свою потерянную Адалинду! – Так молодой граф Эболи рассказывал эту историю, конец коей оказался столь же романтическим, как и начало.

Сделавшись каторжником в Калабрии, Фердинандо скоро узнал, что скован в паре с разбойником – отважным малым, ненавидевшим свои цепи из жажды свободы не менее, чем его товарищ-узник ненавидел их из отвращения к своему незаслуженному несчастью и позору. Вместе они разработали план побега и успешно его осуществили. По дороге Фердинанд рассказал разбойнику свою историю, и тот посоветовал не терять надежды – мало ли какие крутые перемены порой случаются в судьбе; а пока суд да дело, пригласил и убедил отчаявшегося изгнанника присоединиться к его шайке и вместе грабить путников в диких калабрийских холмах.

Пещера, в коей нашла приют Адалинда, стала одним из их потайных убежищ. Здесь они скрывались – лишь ради безопасности, ибо никакая добыча, кроме зверей и птиц, в этих безлюдных местах им пока не попадалась; но вот однажды, возвращаясь с охоты, нашли здесь беглянку, одинокую и испуганную – и никогда огонь маяка так не радовал измученного бурей капитана, как обрадовало явление Фердинанда его нежную возлюбленную.

Фортуна, должно быть, устала преследовать юного графа и сменила гнев на милость. История влюбленных тронула главаря разбойников, а еще более заинтересовало обещание награды. Фердинанд убедил Адалинду остаться на ночь в пещере, а следующим утром они вознамерились отправиться в Неаполь; но в самый миг отбытия появилось новое, неожиданное лицо; разбойники захватили пленника – это был самозванец! Обнаружив наутро, что Адалинда, залог его безопасности и успеха, скрылась неведомо куда, уверенный, что она не могла далеко уйти, он разослал своих эмиссаров в погоню во всех направлениях; и сам, присоединившись к поискам, отправился в путь той же дорогой, что и она – и был схвачен этими беззаконными людьми, решившими, что за человека, по виду богатого и знатного, им достанется немалый выкуп. Когда же они узнали, кто перед ними, то благородно отдали его в руки брата.

Фердинанд и Адалинда отправились в Неаполь. По прибытии девушка представилась королеве Каролине; от нее-то Мюрат с изумлением узнал о том, как пал жертвой хитроумного

обмана. Молодому графу вернули титул и все владения, а несколько месяцев спустя он соединился со своей нареченной.

Сострадательная натура графа и графини побудила их принять живое участие в судьбе Людовико, сменившего преступную карьеру на путь не столь удачливый, но куда более почетный. По ходатайству родных Иоахим позволил ему вступить в армию, где Людовико скоро отличился и получил повышение. Братья вместе воевали в Москве и помогали друг другу выжить во время ужасов отступления. Однажды, охваченный сонливостью – зловещим симптомом переохлаждения, – Фердинанд отстал от товарищей; Людовико отказался его бросить и потащил дальше на себе; так они добрались до деревни, где огонь в очаге и еда вернули Фердинанду силы, и жизнь его была спасена. В другой раз, вечером, когда к прочим ужасам их положения прибавились ветер и мокрый снег, Людовико соскользнул с седла и остался недвижим; Фердинанд бросился к нему и, спешившись, принялся, как только мог, не жалея сил, растирать замерзшего и разгонять его застоявшуюся кровь. Их товарищи поехали дальше, и молодой граф остался с умирающим братом на руках в безбрежной белой пустыне. В какой-то миг Людовико открыл глаза и узнал брата; сжал ему руку, слабым голосом прошептал благословение – и скончался. В этот миг слышались шаги и чужая речь – приближались враги; их появление пробудило Фердинанда от отчаяния. Его взяли в плен – и тем спасли ему жизнь. Когда Наполеона отправили на Эльбу, Фердинанд, как и многие его соотечественники, получил свободу и вернулся в Неаполь.

Дурной Глаз

*Красив албанец в юбочке с подбором,
В чалме, с ружьем в насечке золотой
И в куртке, шитой золотым узором;
Вот, в алых шарфах, македонцев рой.*

Джордж Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Песнь вторая²⁵

Мореот²⁶ Катустий Зиани держал путь по Янинскому пашалыку²⁷. Он устал и страшился обитателей этой местности, известных своими разбойничьими привычками; однако бояться было нечего. В пустынных деревушках, где останавливался он, усталый и голодный, или в необитаемой глуши, порой окруженный шайкой клефтов²⁸, или в городах, где не встречался ему ни единый соотечественник – лишь дикие обитатели гор и деспотичные турки, – везде, едва объявлял он себя побратимом²⁹ Дмитрия Дурного Глаза, каждая рука протягивалась ему навстречу, каждые уста произносили приветствие.

Албанец Дмитрий родился в деревне Корво. Среди диких гор, что вздымаются между Яниной и Тепелене, протекает глубокий и широкий поток Аргирокастрон: с запада защищают его крутые лесистые холмы, с востока затевают высокие горы. Высочайшая из них зовется горой Требуччи: на романтических склонах ее, заметная издали своей мечетью с куполами минаретов, что высятся над пирамидальными кипарисами, расположилась живописная деревушка Корво. Овцы и козы составляют явное достояние ее обитателей; но куда большие богатства доставляют им ружья и ятаганы, воинственные обычаи и благородное искусство грабежа. Среди народа, славного беззаветной отвагой и кровопролитным ремеслом, как никто другой был прославлен Дмитрий.

Говорили, что в молодости Дмитрий отличался более мягким нравом и утонченным вкусом, чем свойственно его соотечественникам. Он путешествовал и изучал европейские науки, чем, впрочем, нимало не возгордился. Он умел читать и писать по-гречески, и за кушак его, рядом с пистолетами, нередко бывала заткнута книга. Несколько лет он провел на Хиосе, самом цивилизованном из островов Греции, и женился на хиотке. Презрение к женщинам – характерная черта албанцев; но Дмитрий, став мужем Елены, перенял более рыцарские взгляды и обратился в лучшую веру. Часто отправлялся он в родные горы и становился под знамена славного Али, но неизменно возвращался назад, на остров, ставший ему домом. Любовь охватила все существо укрощенного варвара, более того – неразрывно слилась с его живым, бьющимся сердцем, стала благороднейшей частью его самого, божественной формой, в которой переплавилась его грубая натура.

Вернувшись однажды из очередного албанского похода, он обнаружил, что дом его разграблен майнотами³⁰. Елена... ему указали на ее могилу, но не осмелились рассказать, как она умерла; единственное его дитя, милая малютка-дочь, была похищена; дом – сокровище любви

²⁵ Перевод Г. Шенгели.

²⁶ Мореоты, или морейцы – греки – жители Пелопоннеса.

²⁷ Административно-территориальная единица в Османской империи, управляемая пашой.

²⁸ Разбойники (*греч.*).

²⁹ В Греции, в особенности в Иллирии и Эпире, часто случается, что люди одного пола клянутся друг другу в дружбе; существует и церковный обряд, освящающий эту клятву. Мужчины, соединенные клятвой, именуются *побратими*, женщины – *посестрима*. – *Примеч. автора.*

³⁰ Этническая группа греков, уроженцы полуострова Мани, или Майна.

и счастья – разрушен; богатство исчезло без следа. Три года провел Дмитрий в поисках потерянной дочери. Он подвергался тысяче опасностей; выносил неопишуемые лишения; он осмелился потревожить диких зверей в их логове – майнотов в их приморском убежище; он напал на них, а они на него. Знаком его отваги стал глубокий шрам, пересекавший щеку и бровь. От этой раны он едва не умер – но Катустий, увидев стычку на берегу и человека, брошенного умирать, сошел с мореотской саколевы³¹, взял раненого к себе, выходил и вылечил. Они обменялись клятвами дружбы, и некоторое время албанец разделял труды своего побратима; но мирное ремесло купца не пришлось ему по вкусу, и он вернулся в Корво.

Кто узнал бы в этом изуродованном дикаре красивейшего из арнаутов³²? Вместе с переменой в облике изменился и нрав его: он сделался свиреп и жестокосерд; улыбался, лишь отправляясь на опасное предприятие. Он стал худшим из разбойников – разбойником, получающим наслаждение от кровопролития. Так прошли его зрелые годы; к старости натура его сделалась еще безжалостнее, взор – еще мрачнее; люди трепетали от его взгляда, женщины и дети восклицали в ужасе: «Дурной глаз!» Толки о дурном глазе распространились; соглашался с ними и сам Дмитрий и наслаждался своей ужасной способностью: когда жертва дрожала и слабела под его взглядом, злобный смех, коим увеличивал он торжество своей силы, вселял в трепещущее сердце околдованного еще больший ужас. Однако Дмитрий умел управлять стрелами своего взгляда: товарищи еще более уважали его за эту сверхъестественную силу, ибо не боялись, что он станет испытывать ее на них.

Дмитрий только что вернулся из похода на Превезу. Он и его товарищи захватили богатую добычу. В честь возвращения они зажарили целиком козу, осушили несколько бурдюков вина, а затем, собравшись вокруг костра, отдались наслаждению «танца с платками»: громогласным хором повторяя припев, то падали на колени, то снова вскакивали и самозабвенно кружились вокруг огня. Лишь у Дмитрия было тяжело на сердце: он не стал плясать со всеми и присел в стороне. Попробовал он было голосом и лютней подтягивать песню – но изменившаяся мелодия скоро напомнила ему о лучших днях; голос его затих, инструмент выпал из рук, и голова опустилась на грудь.

При звуке чужих шагов он приподнялся; в фигуре, представшей перед ним, узнал друга – и не ошибся. С радостным восклицанием приветствовал он Катустия Зиани, пожал ему руку и поцеловал в щеку. Катустий был утомлен путешествием; друзья удалились в дом Дмитрия – глинобитную беленую хижину, земляной пол которой был безукоризненно сух и чист, а стены увешаны оружием, в том числе богато изукрашенным, и другими трофеями его разбойничьих побед. Престарелая служанка разожгла огонь; друзья устроились на циновках из белого камыша, пока старуха варила ягненка и готовила пилав³³. На деревянный чурбан перед ними она поставила блестящий жестяной поднос с кукурузными лепешками, козьим сыром, яйцами и маслинами; кувшин воды из чистейшего источника и мех с вином были призваны освежить и приободрить жаждущего путника.

После ужина гость заговорил о цели своего приезда.

– Я пришел к своему побратиму, – начал он, – чтобы потребовать исполнения клятвы. Когда я спас тебя в Буларии от свирепых каковуниев, ты обязался мне вечной благодарностью: исполнишь ли свой долг?

Дмитрий сдвинул брови.

– Брат мой! – воскликнул он. – Нет нужды напоминать мне о долге. Жизнь моя в твоих руках – какой подмоги ждет от горного клефта сын богача Зиани?

³¹ Греческое малоразмерное парусное судно, широко использовавшееся для плаваний между островами и полуостровами Эгейского моря.

³² Субэтническая группа православных албанцев.

³³ Турецкая разновидность плова.

– Сын Зиани – нищий, – отвечив Катустий, – и погибнет, если брат откажет ему в помощи.

И мореот рассказал свою историю.

Отец его, богатый коринфский купец, взрастил его как единственного сына. Часто Катустий плавал как каравокейри³⁴ на судах своего отца в Стамбул и даже в Калабрию. Несколько лет назад он попал в плен к берберским корсарам. С тех пор, рассказывал Катустий, жизнь его изобиловала опасностями; в действительности же она стала бесчестной, ибо мореот сделался вероотступником и завоевал расположение своих новых союзников не мужеством – он был труслив, – а хитростью, направленной к преумножению богатства. Однако посреди такой жизни какой-то суеверный страх овладел им, и он вернулся к своей прежней религии. Он бежал из Африки, странствовал по Сирии, перебрался в Европу, обосновался в Константинополе. Прошли годы. Наконец, уже собираясь жениться на фанариотской³⁵ красавице, он внезапно снова впал в бедность и вернулся в Коринф, чтобы узнать, не преумножилось ли за время его долгих странствий состояние отца. И что же? Отцовское богатство в самом деле возросло необычайно, но было навеки потеряно для Катустия. Во время его продолжительного отсутствия отец признал наследником другого сына и год назад, умирая, завещал все тому. Какой-то неведомый родственник, вместе с женой и сыном, получил долгожданное наследство! Правду сказать, Кирилл предлагал разделить с братом состояние отца: но Катустий желал всего и не хотел мириться на половине. Тысячи планов убийства и мести роились в его мозгу; но кровь брата была для него священна, к тому же он понимал, что нападение на Кирилла, человека известного и уважаемого в Коринфе, дело рискованное. Было и другое препятствие – его сын. Приняв наконец решение, Катустий поспешно отплыл в Бутринто и отправился за советом и помощью к своему побратиму-арнауту, которому когда-то спас жизнь. Историю свою он рассказал не так, как здесь изложено, а сильно приукрасил; на случай, если Дмитрий нуждается в оправдании своих поступков – ибо понятие справедливости было ему не чуждо – Катустий изобразил Кирилла негодяем, обманом втершимся в доверие к отцу, а передачу наследства – делом бесчестным и подлым.

Ночь напролет раздумывали побратимы, как передать богатство Зиани в руки старшего сына неразделенным. На рассвете Катустий уехал, а два дня спустя и Дмитрий покинул свою горную хижину. Прежде всего купил он коня, к которому уже долго присматривался, любясь его красотой и быстрым бегом, запаса патронами и наполнил пороховой рог. Богатое снаряжение было на нем и праздничное платье; оружие его блистало на солнце. Длинные волосы черной волной ниспадали из-под обернутой вокруг головы шали до самого пояса; с плеча спускался белый плащ; лицо в морщинах от солнца и ветра, грозно нахмуренные брови, длинные смоляные усы, шрам на лице, дикий, безжалостный взгляд – весь вид его, любезный варварскому вкусу, но преисполненный свирепости и разбойничьей удали, внушал трепет. Неудивительно, что суеверные греки верили, будто во взгляде его обитает некий сверхъестественный злой дух, дух проклятия и разрушения! Подготовившись к путешествию, Дмитрий выехал из Корво, пересек леса Акарнании и направился в Морею.

– Отчего дрожит Зелла и прижимает сына к груди, словно страшится зла? – так спрашивал Кирилл Зиани, вернувшись из Коринфа в свою сельскую обитель.

Родное его селение было воплощением красоты. Крутые склоны холмов, покрытых оливами и апельсиновыми деревьями, смотрелись в синие воды Эгинского залива. Миртовые заросли, купающие в море свои темные блестящие листья, распространяли кругом сладостный

³⁴ Капитан купеческого судна (греч.). – Примеч. автора.

³⁵ Фанариоты – этнические греки, живущие в Стамбуле (Константинополе), в районе Фанар.

аромат. Домик с низкой крышей тонул в тени двух огромных смоковниц; к северу, на равнине, простирались пшеничные поля и виноградники.

Увидев мужа, Зелла улыбнулась – но щеки ее были еще бледны и губы дрожали.

– Теперь, когда ты рядом, – отвечала она, – я ничего не боюсь; но нашему Констансу грозит опасность: я с дрожью вспоминаю, что на него взглянул Дурной Глаз.

Кирилл подхватил сына на руки.

– Клянусь головою, – воскликнул он, – не о сглазе ли ты говоришь? Франки³⁶ думают, что это суеверие, но мы лучше остережемся. Что ж, щеки у него по-прежнему розовые, кудри выются чистым золотом... ну же, Констанс, мой храбрец, поздоровайся с отцом!

Боялись они недолго: никакой болезни не последовало, и супруги скоро забыли о случае, наполнившем их сердца тревогой. Неделью спустя Кирилл, по обыкновению, вернулся из плавания с грузом коринки³⁷ в свое прибежище на берегу моря. Стоял чудный летний вечер: скрип водяной мельницы перекликался с последней песней цикады; ленивые волны почти бесшумно наплзали на прибрежную гальку и откатывались прочь. Вот и дом: но где же его милый цветок? Зелла не вышла Кириллу навстречу. Слуга указал на часовню на склоне соседнего холма; там Кирилл нашел жену; сын (которому было без малого три года) дремал на руках у кормилицы, а Зелла пламенно молилась, и по щекам ее струились слезы. В тревоге Кирилл стал спрашивать, что значит эта сцена; вместо ответа кормилица разрыдалась; Зелла продолжала молиться со слезами; видя, что плачут все вокруг, заплакал и мальчик. Этого отец вытерпеть не мог. Выйдя из часовни, Кирилл прислонился к орешнику и воскликнул (есть у греков такая поговорка): «Благословенно будь несчастье, лишь бы оно явилось одно!» Но что же произошло? Он ничего не мог понять – но дух зла всего страшнее, когда невидим. Кирилл был счастлив: прелестная жена, цветущий сын, мирный дом, успех в делах и надежда на богатство – всем одарила его судьба; но как часто Фортуна превращает жизненные блага в ловушку для простаков! Он – раб в поработенной стране, смертный, подвластный неведомым судьбам; быть может, он обречен, и десять тысяч отравленных стрел уже нацелены ему в сердце.

Из часовни показалась Зелла – робкая, трепещущая; ее объяснение не успокоило его страхов. Снова Дурной Глаз взглянул на ребенка, и в этом втором посещении ясно проявилась недобрая цель. Тот же человек, арнаут со сверкающим оружием, в многоцветном платье, верхом на вороном скакуне, появившись из соседней падубовой рощи, на всем скаку подлетел к дому и у самого порога вдруг натянул поводья. Ребенок подбежал к нему; арнаут устремил на него свои страшные глаза.

– Как хорош ты, ясный мальчик, – проговорил он, – сияют твои голубые глаза, прекрасны твои золотые кудри – но красота твоя недолговечна: взгляни на меня!

Невинное дитя взглянуло, вскрикнуло и без чувств повалилось на землю. Женщины поспешили к нему; албанец прищипорил коня и, промчавшись галопом через равнину, скоро скрылся из глаз на склоне лесистого холма. Зелла с кормилицей отнесли ребенка в часовню, побрызгали на него святой водой и, едва он очнулся, обратились к Панагии³⁸ с усердными мольбами уберечь его от сглаза.

Прошло несколько недель: маленький Констанс становился все красивее и смышленнее. Ничто не указывало, что цветок любви готов увянуть, и родители забыли о страхе. Временами Кирилл осмеливался даже шутить о Дурном Глазе; но Зелла считала, что смеяться над такими вещами – к несчастью, и крестилась всякий раз, когда об этом заходила речь.

В это время их жилище навестил Катустий. «Я направляюсь в Стамбул, – так он сказал, – и заехал узнать, не могу ли быть чем-нибудь полезен брату в его денежных делах». Кирилл и

³⁶ Восточное наименование европейцев.

³⁷ Изюм из особого сорта винограда без косточек. – *Примеч. ред.*

³⁸ «Всесвятая» – греческое наименование Богородицы.

Зелла приняла его с сердечной теплотой и с радостью решили, что братская любовь, похоже, начала согревать его сердце. Он казался полон надежд и ожиданий. Братья долго обсуждали его планы, европейскую политику и интриги Фанара; касались в разговоре и мелких коринфских дел, поговорили и о том, что Кирилл, несмотря на молодость, может вскоре получить должность коджа-баши³⁹ провинции. Наутро Катустий стал готовиться к отъезду.

– Об одном одолжении, – сказал он на прощание, – просит вас добровольный изгнанник: не проводят ли меня брат и сестра по дороге к Навплии, где я сажусь на корабль?

Зелле не хотелось покидать дом пусть даже на несколько часов; но она позволила себя уговорить, и все вместе они прошли несколько миль по дороге к столице Мореи. В полуденный час они простились в тени дубовой рощи, а затем расстались.

На обратном пути супруги беседовали о своей безмятежной жизни и мирном счастье, столь отличном от одиноких наслаждений бездомного скитальца. Чем ближе подходили они к своей обители, тем сильнее возрастало в них блаженное чувство: радостно предвкушали они, как боготворимое дитя пролепечет им свой привет. Вот открылась плодородная долина, где стоял их дом: она была расположена на южной стороне устья и выходила на Эгинский залив; все здесь зеленело, все дышало покоем и красотой. Супруги спустились в долину: здесь странное зрелище привлекло их внимание. Плуг спряженными в него быками был брошен посреди пашни; животные отволокли его к краю поля и старались лечь, насколько позволяло им ярмо. Солнце уже коснулось своего западного предела, и прощальные лучи его золотили верхушки деревьев. Все вокруг молчало; затихла даже вечная мельница; не видно было слуг за обычными деревенскими работами. И вдруг из дома отчетливо донесся звук рыданий.

– Мое дитя! – вскричала Зелла.

Кирилл начал ее успокаивать, но из дома слышались новые рыдания, и он поспешил вперед. Зелла спешила и хотела бежать за ним, но бессильно упала у дороги. Муж ее скоро вернулся.

– Не отчаивайся, любимая, – воскликнул он, – я ни днем, ни ночью не буду знать покоя, пока не верну Констанса – верь мне – прощай!

С этими словами он поскакал прочь. Итак, сбылись ее худшие опасения; материнское сердце, еще недавно переполненное радостью, обратилось в приют отчаяния.

Рассказ кормилицы о прискорбном происшествии прибавил к страху Зеллы новый, ужаснейший страх. Вот что произошло: снова появился незнакомец с дурным глазом, но не так, как раньше, проносясь мимо дома с орлиной быстротой, а словно возвращаясь из долгого путешествия; конь его хромал и шел, опустив голову, сам арнаут был покрыт пылью и, казалось, едва держался в седле.

– Ради жизни твоего дитяти, – обратился он к кормилице, – дай чашу воды умирающему от жажды.

Кормилица, не выпуская из рук Констанса, подала путнику кувшин. Едва растрескавшиеся губы незнакомца коснулись воды, сосуд вдруг выпал из его рук. Женщина отшатнулась – и в то же мгновение, рванувшись вперед, сильной рукой чужестранец выхватил ребенка из объятий кормилицы. Вмиг исчезли оба – со скоростью стрелы арнаут пересек равнину и углубился в чащу. Воплями и криками о помощи кормилица созвала домашних. Они бросились по следам похитителя, и пока ни один не вернулся.

По мере того как сгущались сумерки, слуги возвращались. Им нечего было сообщить: они обшарили холмы, прочесали рощи – но не узнали даже, какой дорогой уехал албанец.

К ночи вернулся и Кирилл, изнуренный, осунувшийся, убитый горем: он не нашел никаких следов сына. Наутро он снова отправился на поиски и на этот раз несколько дней не возвращался. Для Зеллы дни тянулись бесконечно: то она сидела, погруженная в безнадежное

³⁹ Коджа-баши, или кодзабасы – «староста», глава местного самоуправления в греческих владениях Османской империи.

уныние, то всходила на близлежащий холм посмотреть, не едет ли муж. Но недолгим было спокойствие: слуги, оставленные для охраны, дрожа, предупредили ее, что вокруг бродят дикие арнауты; и сама она видела, как какой-то высокий человек, закутанный в потертый белый плащ, крался по мысу, но, заметив ее, мгновенно исчез; а однажды ночью ее пробудили от беспокойной дремоты стук копыт и фыркание коня. Несчастная, какой только может быть мать, потерявшая ребенка, сама она почти не страшилась беды; но она себе не принадлежала, жизнью ее владел тот, кто был ей невыразимо дорог, и сознание долга, как и любовь, заставляло ее заботиться о своей безопасности. Кирилл вернулся наконец – еще мрачнее прежнего, но в нахмуренных бровях его было больше решимости, в движениях – больше энергии; он нашел ключ к загадке, хоть этот ключ мог привести лишь в глубокое отчаяние.

Кирилл узнал, что Катустий не сел на корабль в Навплии. Он присоединился к шайке арнаутов, рышущих близ Василико, и вместе с протоклефтом⁴⁰ отправился в Патры; там они сели на моноксилон⁴¹ и отплыли к северным берегам залива Лепанто; с собой они везли ребенка, объятых тяжким, болезненным сном. У бедного Кирилла кровь стыла в жилах при мысли, что его мальчик, быть может, стал жертвой колдовства и злых чар. Он хотел последовать за разбойниками, но получил сообщение, что прочие клефты направились на юг, к Коринфу. Кирилл не мог пуститься в долгие поиски по глухому бездорожью Эпира, оставив Зеллу беззащитной перед нападением этих бандитов. Вот почему он вернулся – посоветоваться с ней и придумать какой-нибудь план, который сохранит ее в безопасности, а его розыскам посулит успех.

После долгих обсуждений было решено, что сперва Кирилл отвезет Зеллу в родительский дом и, прежде чем ринуться в гущу опасностей, поговорит с ее отцом, доверившись его военному опыту. Похищение сына может быть ловушкой, и не дело ему, единственному защитнику ребенка и его матери, безрассудно подвергать себя опасности.

Зелла, как ни странно (ибо этого никак нельзя было предположить по ее голубым глазам и светлой коже), была дочерью майнота: эти обитатели мыса Тенар, для прочего мира страшные и ненавистные, славятся семейными добродетелями и силой родственных уз. Зелла любила отца и свой дом на скалистом морском берегу, откуда в недобрый час ей пришлось бежать.

Ближайшие соседи майнотов, каковунии, населяют самые дикие и нецивилизованные районы Майны: это угрюмый и подозрительный народ, их низкорослые, приземистые фигуры являют разительный контраст с гармоничной красотой майнотов. Два племени проводят свой век в непрерывных раздорах: узкий гористый мыс, с трех сторон окруженный морем, представляет им разом безопасное укрытие от чужеземного врага и все удобства для междоусобной войны. Как-то раз, когда Кирилл плыл вдоль берега, непогода заставила его зайти в небольшой залив, на берегу которого стоит городок Кардамила. Поначалу моряки страшились пиратов, но приободрились, обнаружив, что пираты поглощены собственными разногласиями. Шайка каковуниев осаждала укрепленную скалу близ Кардамилы; разбойники обложили крепость, где нашли прибежище майнотский капитан и его семейство. Прошло два дня; жестокие ветры не позволяли Кириллу покинуть залив. На третий вечер порывы западного ветра утихли, и бриз, дующий с берега, возвестил путникам освобождение. Наступила ночь; моряки уже готовились сняться с якоря, как вдруг группа майнотов, подойдя, обратилась к ним с приветствием, и один из них, старик с властной осанкой, объявил, что хочет поговорить с хозяином судна. Это был капитан Кардамилы, командир крепости, осажденной теперь неумолимыми врагами: он не видит путей к бегству – он должен погибнуть, – единственное его желание в том, чтобы спасти от вражеских рук сокровища и семью. Кирилл согласился взять их на борт: семья состояла

⁴⁰ Атаман разбойников (*греч.*).

⁴¹ Легкая лодка, выдолбленная из ствола дерева (*греч.*).

из старухи-матери, параманы⁴² и юной красавицы-дочери. Кирилл доставил их в безопасное место – в Навплию. Вскоре после этого мать капитана и парамана вернулись в родной город, а прекрасная Зелла, заручившись отцовским согласием, стала своему избавителю женой. С тех пор дела майнота процветали: капитан Кардамылы стал вождем большого племени и человеком, уважаемым во всей округе.

К нему-то и направились убитые горем родители: маленькая саколева их вышла из Эгинского залива, прошла острова Скилос и Керигос, обогнула крайнюю точку Тенара; скоро благодаря попутным ветрам супруги достигли желаемого порта и вошли в гостеприимный дом старого Камараза. Их историю он выслушал с гневом, поклялся бородою, что омоет свой кинжал кровью из сердца Катустия, и настоял на том, чтобы отправиться в Албанию вместе с зятем. Времени терять не стали – седой, но полный сил моряк торопил приготовления. Кирилл и Зелла расстались: тысячи страхов, тысячи часов горя пролегли между супругами, еще так недавно наслаждавшимися ничем не омраченным счастьем. Бурное море, дальние земли – вот ничтожнейшие из опасностей, их разделивших; они не уstraшили бы и худшего; но надежда, хрупкий цветок, поблекла в их сердцах, когда, после прощальных объятий, они оторвались друг от друга.

Из плодородных окрестностей Коринфа Зелла вернулась к родным скалистым берегам. В миг, когда паруса саколевы растаяли вдаль, казалось, всякая радость покинула осиротевшую мать. Дни, недели текли в одиночестве и горестном ожидании: Зелла не принимала участия ни в плясках, ни в собраниях деревенских женщин, что сходились по вечерам для песен, рассказов, танцев и веселья. Уединившись в самой пустынной части отцовского дома, неотрывно смотрела она сквозь решетчатое окно на плещущее внизу море или блуждала по каменистому берегу; когда же буря омрачала небеса и обрывистые скалы под сенью гонимых ветром туч делались пурпурными, когда рев моря разносился по побережью и белые хребты волн на глади океана казались овечьими стадами, бегущими по широкой равнине – тогда Зелла не ощущала ни ветра, ни холода, и не возвращалась домой, пока ее не призывали служанки. Покорная, шла она в дом – но недолго там оставалась: свирепые ветры зывали к ней, и бушующий океан упрекал в бесстрастии. Не в силах совладать с собой, спешила она из своего жилища на берег, не думая о том, что папуши ее забыты на горной тропе, платье в беспорядке и что негоже в такую непогоду выходить из дому без покрывала. Неисчислимые часы проводила Зелла – осиротевшее дитя счастья, – прислонившись к холодной, темной скале; над ней нависали хмурые утесы, волны разбивались у ее ног, брызги окатывали ее нежные ноги, а кудри трепал ветер. Она рыдала безутешно: но, стоило показаться на горизонте парусу, как Зелла осушала быстротекущие слезы; вперив взор вдаль, она не отрывала прекрасных глаз от тающих вдаль очертаний корабля. Порою буря превращала тучи в гигантские башни, бушующее море темнело, становилось все свирепее – тогда естественная скорбь Зеллы усугублялась суеверным ужасом: Мойры, старухи-Судьбы ее родной земли, завывали в порывах урагана, призраки, твердящие, что дитя ее страждет от Дурного Глаза, а муж стал жертвою ужасного фракийского колдовства, вроде того, каким занимаются по соседству в Лариссе, наполняли ее прерывистый сон и страшными тенями преследовали по пробуждении. Померкла сияющая прелесть Зеллы, глаза потеряли блеск, тело – цветущую округлость; силы покинули ее, и с трудом спускалась она изо дня в день на свое всегдашнее место – чтобы снова, как прежде, смотреть и смотреть в пустоту.

Что страшнее ожидания грядущих бедствий? Порою среди слез – или, хуже того, среди бесслезных вздохов отчаяния – мы упрекаем себя за то, что своими мрачными предчувствиями кличем беду; но если на дрожащих губах скорбящего и показывается улыбка, ее останавливает стон муки. Увы! Не в такие ли часы седина окрашивает темные кудри юности и горестные морщины ложатся на цветущий лик красоты? Скорбь – более желанная гостья, когда является

⁴² Кормилица (греч.).

в мрачнейшем своем облики и погружает нас во мглу без просвета; тогда сердце уже не терзается напрасной надеждой.

Кирилл и старый Камараз, не без труда огибая многочисленные мысы Мореи, плыли вдоль берега Кардамылы к заливу Арта, на север Кефалонии и к Сан-Мауро. В пути у них было довольно времени, чтобы разработать план. Отряд мореотов, путешествующих вместе, привлек бы слишком много внимания, поэтому они решили высадить своих товарищей в разных местах и пробираться в Албанию по отдельности; первую встречу они назначили в Янине. Кирилл и его тесть высадились в самой укромной из многочисленных бухточек, разрезающих крутые и ветреные берега залива. Шестеро членов команды должны были идти иным путем и встретиться с ними в столице. За себя путники не страшились: одни, но хорошо вооруженные и защищенные мужеством отчаяния, углубились они в дебри Эпира. Успех им не сопутствовал: они дошли до Янины, не найдя ни малейшего следа. Там к ним присоединились товарищи, кои получили указания ждать в городе три дня, а затем поодиночке выходить в Тепелене, куда Кирилл и его тесть немедленно направили свой путь.

В первой же встречной деревне, в Зитце⁴³, ждали их вести, добрые, хоть и не указывающие направления поисков. Путники испросили приюта и гостеприимства в монастыре, расположенном сразу за деревушкой, на зеленой возвышенности, увенчанной дубовой рощей. Быть может, во всем мире не найти места столь же прекрасного и романтического: купы деревьев скрывают его от мира; с возвышенности открывается вид на холм и долину, усаженную виноградниками, то здесь, то там испещренную белыми точками пасущихся стад; в глубине лощины оживляет пейзаж река Каламас, а с востока, запада, севера и юга возвышаются далекие голубые вершины Зумеркас, Загора, Сулли и Акрокеравния. Кирилл завидовал нерушиму спокойствию калуеров⁴⁴. Они приняли путников просто, но радостно и с сердечным радушием. Расспросив их о цели путешествия, монахи душевно посочувствовали тревоге отца и охотно поведали все, что знали.

Две недели назад в монастырь явился арнаут, хорошо им известный – Дмитрий Дурной Глаз, знаменитый клефт из Корво, и с ним какой-то мореот; с собой они везли ребенка, прекрасного собою, смелого и смышленного мальчика, который с отвагой, удивительной для его возраста, попросил у калуеров защиты и обвинил своих спутников в том, что они насильно увезли его от родителей. «Клянусь головою! – воскликнул албанец, – храбрый паликар⁴⁵; он держит слово, брат; ведь он поклялся Панагией, несмотря на наши угрозы сбросить его с утеса на пищу стервятникам, что обвинит нас перед первыми же добрыми людьми, каких встретит; он не чахнет от дурного глаза, не трусит наших угроз!» При этих похвалах Катустий нахмурился. Вскоре стало ясно, что в расположении к мальчику албанец и мореот меж собой не сходятся. Суровый житель гор, глядя на ребенка, забывал всю свою суровость. Когда маленький Констанс спал, Дмитрий не отходил от него, с женской заботливостью отгоняя от дитяти мух и комаров. Когда мальчик обращался к нему, Дмитрий отвечал самыми нежными словами, осыпал его подарками, учил – такого кроху! – подражать воинским упражнениям. Когда же мальчик преклонял колени и обращался к Панагии с мольбой вернуть его родителям – детский голосок его дрожал, и по щекам струились слезы, – глаза Дмитрия увлажнились, и он прикрывал лицо плащом. «Так, быть может, молилась и моя дочь, – шептало ему сердце. – Но небеса нас не слышат – увы! – где-то она теперь?» Ободренный такими знаками сочувствия, которые дети скоро замечают, Констанс однажды обвинил ручонки вокруг шеи арнаута и воскликнул, что любит его, что будет за него сражаться, когда вырастет – лишь бы Дмитрий вернул его в

⁴³ Монастырь и деревня Зитца упоминаются в поэме Джорджа Байрона «Чайльд-Гарольд» (песнь вторая).

⁴⁴ Монахи (греч.).

⁴⁵ Молодец (греч.).

Коринф! При этих словах Дмитрий вскочил, бросился к Катустию, принялся его увещевать – в ответ безжалостный напомнил ему о данном обете. И все же албанец поклялся, что ни один волосок не упадет с головы ребенка; но Катустий, незнакомый с раскаянием, уже замыслил племяннику гибель. С этих пор начались меж побратимами частые и жестокие споры; наконец, устав от препирательств, Катустий решил достичь своей цели хитростью. Однажды ночью он тайно покинул монастырь, забрав с собой дитя. На Дмитрия, когда он услышал об их отъезде, добрым калуерам страшно было взглянуть: инстинктивно схватились они за всякие железные предметы, до которых могли дотянуться, дабы отвратить действие дурного глаза, сверкавшего с ни чем не сдерживаемой свирепостью. Несколько монахов в панике поспешили к обитой железом двери, ведущей из обители наружу; с мощью льва Дмитрий отшвырнул их, выбежал за ворота и, словно бурный поток, напоенный весенним таянием снегов, ринулся вниз по крутому холму. Не столь стремителен полет орла, не столь неукротим бег дикого зверя!

Таков был ключ, полученный Кириллом. Слишком долго было бы нам следовать за ним в дальнейших поисках: вместе со старым Камаразом он пересек долину Аргирокастроны, взошел на гору Требуччи и достиг Корво. Дмитрий, как выяснилось, вернулся, собрал отряд верных товарищей и снова покинул дом; куда он направился и что замышлял – о том односельчане судили розно. Одно из указаний направило наших путников в Тепелене, а оттуда назад в Янину, и здесь им снова улыбнулась удача. Они остановились на ночлег у священника в деревушке Мосме, лигах в трех к северу от Зитцы, где им встретился арнаут, покалеченный падением с лошади; некогда он принадлежал к шайке Дмитрия; от него они узнали, что арнаут выследил Катустия, гнался за ним по пятам и принудил искать убежища в монастыре Пророка Ильи, что стоит на одной из высоких вершин Загоры, в восьми лигах от Янины. Дмитрий последовал за ним и потребовал ребенка. Калуеры отказались его выдать, и теперь клефт в безумной ярости осаждает монастырь, стремясь силой вернуть мальчика, любовь к которому так неожиданно оживила его окаменевшее сердце.

В Янине Камараз и Кирилл встретились с товарищами и вместе отправились в путь, чтобы присоединиться к своему невольному союзнику. Свирепее горного потока или бушующих океанских валов, тот вселял ужас в сердца осажденных непрерывными и неустрашимыми нападениями. Катустий, оставив ребенка в монастыре, отправился в ближайший загорийский город, дабы призвать на подмогу местного белук-баши. Загорийцы – мягкие, дружелюбные, общительные люди: они жизнерадостны, умны и откровенны, храбрость их известна всему свету, даже диким обитателям гор Зумеркас, а грабеж, убийство и иное насилие им неведомо. Эти добрые люди немало разгневались, услышав, что шайка арнаутов осадила священный приют любимых ими калуеров. Отважнейшие из них собрались в отряд и, взяв с собой Катустия, поспешили к монастырю, чтобы изгнать нечестивых клефтов. Но они прибыли слишком поздно. В полночь, когда монахи горячо молились об избавлении их от врагов, Дмитрий и его молодцы вышибли обитую железом дверь и ворвались в святые пределы. Протоклефт подошел к вратам святилища и, возложив на них руки, поклялся, что пришел спасти, а не погубить. Его увидел Констанс. С криком радости мальчик вырвался из рук монаха и бросился в объятия арнаута: это была победа. Принеся монахам искренние извинения за причиненные волнения, клефт с товарищами покинул часовню, увезя с собой свой трофей.

Несколькими часами позже вернулся Катустий: и так ловко этот предатель изложил свою историю добрым загорийцам, так сокрушался о судьбе малютки-племянника в руках «этих злодеев», что загорийцы решились следовать за ним и, поскольку числом они превосходили разбойников, вырвать мальчика из их губительных рук. Катустий, обрадованный таким предложением, настоял на том, чтобы ехать немедленно. На рассвете они пустились в путь по горным тропам следом за зумеркийцами.

Счастливым тем, что вернул своего маленького любимца, Дмитрий усадил его на коня впереди себя и во главе своих товарищей двинулся в путь вверх по горным склонам, порос-

шим древними дубами Додоны, а ближе к вершине – гигантскими угрюмыми соснами. После нескольких часов пути они спешили, чтобы передохнуть. Для привала избрали мрачное ущелье, угрюмость которого усугублялась широкими тенями темных падубов; густой подлесок и россыпь каменных обломков не давали лошадям идти быстро. Разбойники спешили и сели у ручья. Явилась небогатая трапеза, и Дмитрий тысячью ласковых слов убедил мальчика поесть. Вдруг один из его людей, поставленный на страже, принес весть, что от монастыря Пророка Ильи идет сюда отряд загорийцев, и Катустий предводительствует ими; и другой страж поднял тревогу, объявив, что по янинской дороге приближаются шесть или восемь хорошо вооруженных мореотов. В тот же миг исчезли все признаки бивака. Арнауты взбежали на холмы: одни укрылись за скалами, другие за стволами деревьев; все затаились, чтобы не спугнуть пришельцев. Скоро появились мореоты, взбираясь на гору по узкой тропе, позволявшей идти лишь двоим в ряд; не ведая об опасности, они шли беспечно, пока выстрел, что просвистел у одного из них над головой и сбил ветку дерева, не указал им на опасность. Греки, привычные к такому роду войны, также бросились под защиту скал и принялись стрелять оттуда, целясь в противников, занявших более возвышенные позиции; пригибаясь и перебегая от камня к камню, они палили так часто, как только успевали перезаряжать пистолеты. Один лишь старик остался на тропе. Камараз, старый моряк, не раз встречал врага на борту своего каика⁴⁶; на судне он и сейчас был бы первым в бою, но лесная битва требовала недоступной ему быстроты. Кирилл звал его укрыться за низким широким камнем, но майнот лишь махнул рукой.

– Не страшись за меня, – крикнул он, – я знаю, как надлежит умирать!

Храбрец любит храбреца. Увидев, что старик стоит недвижимо, мишенью для всех пуль, Дмитрий поднялся из-за своего скалистого укрытия и приказал своим людям прекратить огонь. Затем, обращаясь к врагу, он крикнул:

– Кто ты? Откуда ты? Если пришел с миром, иди своим путем. Отвечай и не бойся!

Расправив плечи, старик ответил:

– Я майнот, и страх мне неведом. Вся Эллада трепещет перед пиратами с мыса Матапан, а я – один из них! Я пришел не с миром! Смотри – в своих руках ты держишь причину нашего раздора! Я – дед этого ребенка: отдай его мне!

Если бы Дмитрий держал в руках своих змею и она вдруг зашипела бы у него на груди – и тогда его чувства не изменились бы столь внезапно.

– Отпрыск майнотов!..

Он разжал руки, и Констанс упал бы, если бы не обхватил его за шею. Тем временем весь отряд покинул свои каменистые бастионы и сгрудился на тропе. Дмитрий оторвал ребенка от себя; в этот миг он мог бы сбросить его с утеса вниз – но в то самое мгновение, когда он замер, дрожа от избытка страстей, на тропе появился Катустий и с ним передовые загорийцы.

– Стой! – вскричал разъяренный арнаут. – Смотри, Катустий! Смотри, друг, которому я, влекомый неодолимой судьбой, дал безумную и бесчестную клятву! Теперь я исполняю твое желание – дитя майнота умрет! Сын проклятого племени падет жертвою моей праведной мести!

В порыве ужаса Кирилл бросился к албанцу: он навел мушкет, но не выстрелил, опасаясь поразить собственное дитя. Старый майнот, не столь робкий и более отчаянный, прицелился; Дмитрий это заметил и метнул в него кинжал, уже направленный на ребенка – кинжал вошел тому в бок, – но в это время Констанс, почувствовав, что хватка его бывшего защитника разомкнулась, бросился в объятия отца.

Камараз упал, однако рана его была незначительна. Он увидел, как окружают его загорийцы и арнауты, увидел, что его спутники стали пленниками. Дмитрий и Катустий бросились к Кириллу, стремясь завладеть плачущим мальчиком. Майнот поднялся: тело его ослабело, но

⁴⁶ Легкое гребное судно.

сердце не знало слабости; заслонив своим телом отца и дитя, он перехватил поднятую руку Дмитрия.

– Пусть, – воскликнул он, – на меня падет твоя месть! Я – из проклятого племени; дитя невинно! Майна не может похвалиться, что это ее сын!

– Лживый пес! – вскричал разъяренный арнаут. – Этот обман тебе не поможет!

– Нет, ради душ тех, кого ты любил, послушай меня! – продолжал Камараз. – И, если я не подтвержу своих слов, пусть смерть заберет меня и детей моих! Отец мальчика из Коринфа, а мать его – хиотка!

– Хиотка?! – От этого слова у Дмитрия кровь застыла в жилах. – Злодей! – вскричал он, отталкивая руку Катустия, занесенную над бедным Констансом. – Это дитя под моей охраной, не смей прикасаться к нему! Говори, старик, и ничего не страшись, если только говоришь правду.

– Пятнадцать лет назад, – начал Камараз, – я на своем кайке в поисках добычи высадился на хиотский берег. Недалеко от моря стоял скромный дом из орешника – там обитала вдова богатого островитянина со своей единственной дочерью. Дочь вышла замуж за албанца; он в то время был в отъезде. Поговаривали, что у себя в доме добрая женщина прячет сокровище – да и дочь ее стала бы славной добычей! – и мы решили рискнуть. Мы ввели судно в узкую бухточку, дождавшись, когда луна пойдет на убыль, высадились и под покровом ночи прокрались к одинокому жилищу женщин...

Дмитрий схватился за рукоять кинжала – кинжала не было; наполовину выхватил из-за кушака пистолет – но маленький Констанс, вновь прильнув к своему бывшему другу, схватил его за руку. Клефт взглянул на мальчика; он страстно желал прижать его к груди, но боялся обмана. Он отвернулся и закрыл лицо плащом, пряча скорбь и не давая воли своим чувствам, пока не услышит все до конца. Камараз продолжал:

– Все обернулось куда хуже, чем я ожидал. У молодой женщины была дочь: страшась за жизнь ребенка, она боролась с моими молодцами, словно тигрица, защищающая потомство. Я в другой комнате разыскивал спрятанное сокровище, как вдруг душераздирающий вопль пронзил воздух. Хоть никогда прежде я не ведал жалости, этот крик проник мне в сердце – но было слишком поздно: женщина уже пала на землю, влага жизни сочилась из ее груди. Не знаю почему, но сострадание к зарубленной красавице пересилило во мне иные чувства. Я приказал перенести ее и дитя на борт, чтобы посмотреть, нельзя ли ее спасти, но она умерла, едва мы снялись с якоря. Я подумал, что она предпочла бы покоем на родном острове, а кроме того, по правде сказать, боялся, что, если увезу ее, она обернется вампиром и начнет меня преследовать; вот почему мы оставили тело хиотским священникам, а девочку увезли с собой. Ей было около двух лет, она едва могла пролепетать несколько слов: мы разобрали только, что ее зовут Зеллой. Она-то и есть мать этого мальчика!

Много ночей бедная Зелла не смыкала глаз, следя за прибывающими в Кардамилу кораблями. Видя, что госпожа лишилась сна, служанка подмешала в пищу опиум и уговорила ее немного поесть; бедная женщина забыла, что дух сильнее плоти, а любовь одолевает все препятствия, и телесные, и духовные. С открытыми глазами лежала Зелла на своем ложе: дух ее затуманился, но сердце бодрствовало. Среди ночи, ведомая необъяснимым порывом, она прильнула к окну – и увидела, что в залив входит маленькая саколева: она шла быстро, подгоняемая попутным ветром, и скоро скрылась за выступающим утесом. Легко спрыгнула Зелла на мраморный пол своих покоев, окутав плечи шалью, спустилась по каменистой тропе и быстрым шагом достигла берега. Судно все не показывалось, и Зелла уж готова была поверить, что ее обмануло возбужденное воображение – однако не трогалась с места. Всякий раз, пытаясь шевельнуться, она ощущала слабость и тошноту; веки ее отяжелели и сами собой закрывались.

Наконец желание заснуть стало необоримым: она прилегла на камни, плотнее завернулась в шаль и забылась сном.

Так глубоко было ее забытье, навеянное снотворным снадобьем, что много часов она не замечала, что творилось вокруг. Просыпалась она постепенно, и постепенно осознала, что происходит. Веет прохладный свежий ветерок – значит, она по-прежнему на берегу моря; где-то рядом плещут волны – тот же плеск звучал у нее в ушах перед сном. Но ложе ее не из камня, и мрачный утес более не служит ей пологом. Зелла подняла голову... что это? Она на борту суденышка, разрезающего морские волны; под головой у нее соболья накидка; по левую руку – мыс Матапан; корабль идет прямо на полдень. Ее объял не страх – изумление; быстрой рукой отодвинула она занавес, скрывавший ее от глаз моряков...

Боже! Страшный албанец сидел с ней рядом, и на руках его покоился Констанс. Зелла испустила крик – Кирилл обернулся, и в следующий миг она упала к нему в объятия.

Сон

*Che dice mal d'amore
Dice una falsità!⁴⁷*

Итальянская песня

Легенда, которую мы сейчас расскажем, относится к началу царствования Генриха Четвертого, чье обращение и воцарение принесли мир измученной Франции, но не смогли залечить глубоких ран, нанесенных друг другу враждующими партиями. Память о раздорах и смертельных обидах еще жила меж примиренными, и часто, едва разняв руки после «дружеского» рукопожатия, бывшие враги непроизвольно хватались за кинжалы: язык оружия отвечал их страстям более галантного языка придворной любезности. Многие рьяные католики укрылись в отдаленных провинциях: там, в уединении, лелеяли они свое недовольство и с нетерпением дожидались дня, когда смогут заявить о нем открыто.

В большом, хорошо укрепленном шато на крутом берегу Луары, недалеко от города Нанта, жила юная и прекрасная графиня де Вильнёв – последняя из рода, наследница семейного состояния. Целый год провела она в одиночестве в своей отдаленной обители, не появлялась при дворе, не участвовала в придворных празднествах: траур по отцу и братьям, погибшим в гражданских войнах, был тому понятной и уважительной причиной. Однако осиротевшая графиня унаследовала знатное имя и обширные земли. Скоро ей дали знать: король, ее опекун, желает, чтобы она отдала эти богатства вместе с рукой некоему дворянину, чье происхождение и состояние делают его достойным такого дара. В ответ Констанция изъявила желание принести обет безбрачия и уйти в монастырь. Король наложил на ее намерение решительный запрет: он видел в нем лишь плод скорби, охватившей чувствительную душу, и надеялся, что рано или поздно упругий дух юности прорвет мрачную пелену уныния.

Прошел год, но графиня упорствовала в своем решении. Наконец, не желая применять насилие – а кроме того, лично разобраться в том, что за причины побуждают юную, прекрасную, щедро одаренную судьбою девушку заживо похоронить себя в монастырских стенах, – Генрих объявил, что теперь, когда срок траура истек, намерен посетить ее замок; и если, добавил монарх, те доводы, что он представит, не склонят ее остаться в миру – что ж, тогда он не станет ей препятствовать.

Много дней Констанция провела в слезах, много ночей не знала покоя. Для всех затворив ворота, она, подобно леди Оливии в «Двенадцатой ночи», предавалась отшельничеству и унынию. Старших над ней не было; жалобы и упреки домашних скоро смолкли; ничто не мешало ей лелеять и пестовать свое горе. Но скорбь, горькая, жгучая, неотвязная гостья, постепенно сделалась ей ненавистна. Дух Констанции, юный, живой и пламенный, боролся с унынием, сопротивлялся ему, рвался его стряхнуть – однако приятные и радостные впечатления лишь оживляли сердечную муку, и графиня покорялась своей участи: пока она несла свою ношу безропотно, та хоть и давила на сердце, но не терзала его.

Часто Констанция покидала замок и бродила по окрестностям. Как ни просторны были ее покои, как ни высоки их своды, в четырех стенах и под лепными потолками она чувствовала себя, словно в клетке. Ясное небо, пологие холмы, древние леса, с которыми связывали Констанцию милые воспоминания прошлого, – все манило к себе, все звало найти покой под лиственным кровом. Нет неподвижности в природе: то ветерок прошелестит в ветвях, то солнце,

⁴⁷ Лгут уста, хулящие любовь! (ит.)

скользя по небу, позолотит верхушки деревьев – все эти перемены успокаивали Констанцию и рассеивали глухую скорбь, что неотступно теснила ее сердце под крышей замка.

У границы густо заросшего парка располагался один укромный уголок, надежно скрытый от мира высокими тенистыми деревьями. Уголок этот был для Констанции под запретом – однако ноги ее сами находили к нему путь; вот и теперь, как ни старалась она держаться в стороне от заветной полянки, но уже в двадцатый раз за день возвращалась сюда, сама не понимая, как здесь очутилась. Присев на шелковистую траву, она устремила горестный взгляд на цветы, которые сама когда-то посадила, желая украсить свое зеленое убежище – храм воспоминаний и любви. В руке ее лежало письмо от короля – причина нового горя. На лице отражалось уныние; нежное сердце вопрошало судьбу, зачем та готовит ей – столь юной, одинокой, всеми покинутой – новые бедствия?

«Ничего иного не прошу, – думала Констанция, – только бы остаться навек в отцовском доме, где прошло мое детство, обливаться слезами дорогие могилы, и здесь, в лесах, где когда-то снала меня безумная мечта о счастье, вечно оплакивать свои погибшие надежды!»

Вдруг что-то зашелестело в кустах. Сердце у графини сильно забилося – но в тот же миг все утихло.

– Глупая! – пробормотала она. – Это все твое воображение! Здесь мы встречались, здесь сидела я, ожидая, когда шорох кустов возвестит о приближении любимого; и теперь, кролик ли пробежит мимо или птица пробудит лес от сна, – все говорит мне о нем. О Гаспар! Когда-то ты был моим – но никогда, никогда больше эта милая поляна не услышит твоих шагов!

Вновь зашелестели кусты, и из зарослей донеслись чьи-то шаги. Констанция поднялась; сердце ее затрепетало. Должно быть, это глупая Манон – снова будет уговаривать ее воротиться! Но нет, шаг звучит медленнее и тверже, чем у служанки; вот непрощенный гость показался из-за деревьев – теперь Констанция слишком ясно различала его черты. Первый порыв ее был – бежать. Бежать... не взглянув на него в последний раз, не услышав милого голоса перед тем, как монашеский обет разлучит их навеки? Нет, эта последняя встреча не оскорбит мертвецов – но, быть может, смягчит роковую скорбь, от которой так побледнели щеки юной графини.

Вот он стоит перед нею – возлюбленный, с которым Констанция некогда обменялась клятвами верности. Как и она, он печален; взор его молит: «Останься хоть на миг!» – и Констанция не в силах ему противиться.

– Не для того я пришел, госпожа, – заговорил молодой рыцарь, – чтобы бороться с твоей непреклонной волей. Я хотел лишь взглянуть на тебя в последний раз и проститься с тобою навеки. Я отправляюсь в Палестину. Молю, не хорони себя в монастырских стенах: того, кто тебе так ненавистен, ты больше не увидишь. Умру я на чужбине или останусь жив – Франция для меня навеки потеряна!

– Палестина! – воскликнула Констанция. – Страшное слово – но я ему не верю! Король Генрих не расстанется с храбрейшим из своих воинов. Ты помог ему взойти на трон – ты и должен его защищать. Нет, если мои слова хоть что-нибудь для тебя значат, не ездь в Палестину!

– Одно твое слово... одна твоя улыбка... Констанция!

И юный влюбленный бросился перед ней на колени. Но образ его, когда-то милый и родной, а теперь чуждый и запретный, укрепил ее решимость.

– Прочь! – воскликнула она. – Ни слова, ни улыбки ты от меня не получишь! Зачем ты здесь – здесь, где бродят тени умерших и проклинают предательницу, что позволяет убийце смущать их священный покой?

– Когда любовь наша только расцветала и ты была ко мне добра, – отвечал рыцарь, – ты показала мне путь через лесную чашу, ты привела меня на эту поляну и здесь, под сводами древних дубов, поклялась, что будешь моей.

– Я согрешила, – отозвалась Констанция, – когда отворила двери родительского дома сыну врага; тяжек мой грех и страшно наказание!

От этих слов юный рыцарь преисполнился надеждой, однако ближе подойти не осмелился, видя, что девушка готова в любой миг обратиться в бегство. Вместо этого он заговорил:

– То была счастливая пора, Констанция: каждый вечер, когда я припадал к твоим ногам, дневной ужас в моем сердце сменялся блаженством. В мрачном моем замке царил дух ненависти и мести – но эта зеленая поляна, залитая звездным светом, стала для нас святилищем любви.

– Счастливая? – эхом откликнулась Констанция. – То была злосчастная пора: я нарушила свой долг – и воображала, что из этого выйдет что-то доброе и что Господь вознаградит меня за непослушание... Не говори мне о любви, Гаспар! – море крови разделяет нас! Не приближайся! Бледные тени мертвых и теперь стоят меж нами, предупреждают о моем проступке и грозят за то, что я слушаю речи убийцы.

– Но я не убийца! – воскликнул юноша. – Послушай, Констанция, я, как и ты, – последний в роду. Наши семьи смерть не пощадила: мы остались одни. Не так было, когда мы полюбили друг друга: тогда отец, братья, родные, да что там – даже мать моя дышала проклятьями роду Вильнёв... но я благословлял его. Я увидел тебя, любимая, и благословил твой род. Бог мира вселил в сердца наши любовь; много летних ночей провели мы втайне от всех на освещенных луною полянах, когда же день освещал землю, в этом милом приюте укрывались мы от его докучного надзора. Здесь, на этом самом месте, где я сейчас преклоняю колени пред тобою, мы, стоя на коленях, произнесли клятву верности. Неужели же ты отречешься от своего обета?

Слезы заструились по щекам Констанции; речи возлюбленного воскресили в ее памяти часы счастья.

– Замолчи! – вскричала она. – Ни слова более! Ты знаешь, Гаспар, или скоро узнаешь веру и решимость той, что не осмеливается стать твоей. Как могли мы говорить о любви и счастье, когда вокруг бушевали война, злоба и кровопролитие? Недолго цвели цветы, возвращенные руками влюбленных: они погибли под ногами врагов. Мой отец погиб в схватке с твоим отцом; брат мой клялся, что твоя рука нанесла ему смертельный удар. Так это или нет – не знаю; но не все ли равно? Ты сражался на стороне тех, кто его убил. Молчи, ни слова более: слушать тебя – преступление пред душами усопших. Уходи, Гаспар, забудь обо мне. Генрих щедр и благороден, при его дворе тебе открыт славный путь; немало прекрасных дев пожелают, как я когда-то, обменяться с тобою клятвами, многие смогут даровать тебе счастье. Прощай! Да благословит тебя Пресвятая Дева! Я же не забуду высочайшую из заповедей Христовых – молиться за врагов. Прощай, Гаспар!

С этими словами она бросилась прочь, перебежала просеку и быстрыми шагами устремилась к замку. Оказавшись под защитой стен, Констанция отдалась порыву горя, бушующему в нежной груди. Ее терзала страшнейшая из скорбей – воспоминание о былых радостях, окрашенное горечью и угрызениями совести; любовь в ее сознании сплелась с воображаемой виной в страшный узел, словно живой человек, каким-то безжалостным палачом прикованный к мертвому телу.

Вдруг некая мысль посетила графиню. Сперва Констанция отринула ее как ребяческую и суеверную, но мысль не уходила. Девушка поспешно позвала служанку.

– Манон, – заговорила она, – спала ли ты когда-нибудь на ложе Святой Екатерины?

Манон перекрестилась.

– Господь сохрани! На моей памяти только две девицы на это отваживались: одна упала в Луару и утонула, а вторая только взглянула на узкое ложе и без лишних слов повернула назад. Страшное это место: если женщина не вела доброй и благочестивой жизни, горек будет час, когда она положит голову на святой камень!

Констанция также перекрестилась.

– Что говорить о доброй жизни? Лишь помощью Господа и святых его мы надеемся обрести праведность. Завтрашнюю ночь я проведу на ложе Святой Екатерины!

– Господи, помилуй! Да ведь завтра приезжает король!

– Тем более я нуждаюсь в помощи. Не может быть, чтобы от такой горькой скорби, как моя, не нашлось исцеления! Я надеялась принести мир обоим нашим домам; возможно ли, чтобы терновый венец стал моей наградой? Пусть Небеса направят мой путь. Завтра ночью я лягу спать на ложе Святой Екатерины: если правду говорят, будто святая является своим почитательницам во сне и указывает, что делать, я последую ее словам; а затем – что ж, зная, что дела мои угодны Небу, я покорюсь даже самому худшему.

Король направлялся из Парижа в Нант; в эту ночь он остановился в замке в нескольких милях от Шато Вильнёв. Перед рассветом в покои к нему ввели молодого кавалера. Рыцарь был прекрасен лицом и телом, но в чертах его отпечаталась усталость от долгой дороги, а сверх того, тревога и уныние. Молча предстал он перед Генрихом; тот, веселый и бодрый, обратился на него живые голубые глаза и заговорил ласково:

– Что, Гаспар, она все стоит на своем?

– По-прежнему намерена сделать несчастными нас обоих. Увы, не о себе я горюю, сир! – горько мне, что Констанция жертвует собственным счастьем!

– Полагаешь, она ответит «нет» блестящему кавалеру, которого представим ей мы сами?

– О сир! Надеюсь, что нет! Быть того не может. Сердце мое преисполнено благодарности к Вашему Величеству. Но если ее возлюбленный при свидании наедине, там, где и прелесть лесной поляны, и сладость воспоминаний были на его стороне, не смог ее убедить – что, если она воспротивится и вашим приказам? Она твердо решила заточить себя в монастыре, и если желание ее исполнится, позвольте и мне вас покинуть – я стану воином креста и встречу смерть в Палестине.

– Гаспар, – заговорил монарх, – я знаю женщин лучше твоего. Их покоряют не смирением и не слезными мольбами. Неудивительно, что гибель родных тяжелым камнем легла на сердце юной графини: пестуя в одиночестве свою скорбь и раскаяние, Констанция воображает, что сами Небеса воспрепятствуют вам соединиться. Пусть достигнут ее голоса мира сего – земной власти и земной доброты, один повелевающий, другой молящий; оба найдут отклик в ее сердце, и, клянусь моей честью и святым Крестом, она станет твоей! Итак, будем придерживаться нашего плана. А теперь по коням: солнце взошло, уже утро!

Король прибыл во дворец епископа, а оттуда отправился отстоять мессу в соборе. За мессой последовал роскошный обед, и день уже клонился к вечеру, когда монарх, выехав из Нанта и проехав немного вверх по течению Луары, достиг Шато Вильнёв. Юная графиня встречала его у ворот. Тщетно Генрих искал в ее лице бледность и иные признаки уныния, которые ожидал увидеть. Щеки графини пылали, голос слегка дрожал, во всех движениях чувствовалось воодушевление. «Либо она его не любит, – сказал себе Генрих, – либо сердце ее уже смягчилось».

Для монарха приготовили легкий ужин; после некоторого колебания, вызванного очевидной бодростью Констанции, король заговорил о Гаспаре. Она не побледнела, но залилась румянцем и отвечала поспешно:

– Завтра, добрый мой сир, молю вас об отсрочке до завтра; тогда все решится – завтра я принесу обеты Богу, или...

Тут она смутилась, и король, удивленный и обрадованный, спросил:

– Так, значит, ты не ненавидишь юного де Водемона? Ты простила ему, что в жилах его течет враждебная кровь?

– Нас учили прощать и любить своих врагов, – с некоторым трепетом отвечала графиня.

– Клянусь святым Дионисием, ответ как нельзя более кстати! – рассмеявшись, воскликнул король. – Подойди поближе, верный мой слуга, и поблагодари даму за ее любовь!

До сих пор наш кавалер держался позади, в толпе придворных; видимое спокойствие и бодрость хозяйки замка наполнили его бесконечным изумлением. Слов ее он не слышал, но, полно ли, та ли это девушка, что дрожала и лила слезы прошлым вечером? – ее ли сердце рвут на части противоборствующие страсти? – ей ли являлись призраки отца и братьев и вставали между ней и обожаемым более жизни возлюбленным? Что за диво? Услышав зов короля, юноша так и рванулся вперед. Миг – и он у ее ног; в это мгновение страсть в сердце Констанции победила напускную холодность – увидев Гаспара, она испустила крик и рухнула наземь.

Все это было странно и непостижимо. Служанки привели ее в чувство, но за первым обмороком последовал второй, а за ним потоки слез. Монарх тем временем ждал в холле, взирая на недоеденный ужин и напевая себе под нос песенку о женском непостоянстве. Де Водемон бросал на него взгляды, полные тревоги и горького разочарования – король не знал, что на них ответить. Наконец главная горничная графини явилась с извинением: госпожа ее больна, очень больна, завтра она бросится к ногам короля, вымолит у него прощение и откроет загадку своего поведения – все завтра!

– Опять «завтра»! – вскричал король. – Да что за чары кроются в завтрашнем дне? Объясни мне эту загадку, красotka: что произойдет, почему завтра все решится?

Манон краснела, смотрела в пол и молчала. Но Генрих был не новичок в искусстве выпытывать у горничных тайны их хозяек. К тому же замысел госпожи пугал Манон, она согласилась нехотя и теперь рада была выдать секрет.

Провести ночь на ложе Святой Екатерины – узком уступе, нависающем над глубокой и бурной Луарой, рискнуть жизнью – и все ради того, чтобы дурные сны, какие, без сомнения, навеет это жесткое ложе, принять за указания свыше? Такого безумия Генрих не ожидал даже от женщины! Как могла Констанция, красота коей обличала глубокий ум и которую постоянно восхваляли за ее силу духа и таланты – как могла она поддаться столь странной фантазии? Так вот какие шутки играет с нами страсть! – подобно смерти, уравнивает она даже аристократию духа, и всех – мужика и дворянина, мудреца и простака – делает своими рабами! Странно... что ж, пусть Констанция поступает, как знает. Хорошо и то, что она колеблется: будем надеяться, сказал себе Генрих, святая Екатерина не подведет. Если же и так – решение, навеянное сном, можно изменить при пробуждении. Что же касается более материальных опасностей, о них король позаботится сам.

Нет чувства более ужасного, чем то, что сотрясает слабое человеческое сердце, когда его неодолимые порывы вступают в борьбу с велениями совести. Говорят, запретный плод всего слаще: быть может, это верно для грубых натур, для тех, кто любит бороться и брать свое с бою, кто счастье находит в битве и радость – в буре страстей. Но дух Констанции был мягче и нежнее: любовь и долг, схлестнувшись в поединке, рвали и крушили ее бедное сердце. Подчинение велениям религии – или, если угодно, суеверия – стало для нее благословенным исходом. Сами опасности, которыми было обставлено ее решение, придавали ему особую прелесть: рисковать собой ради Гаспара – одно это было счастьем; трудность пути, ведущего к исполнению желаний, насыщала ее любовь и отвлекала от уныния. Если же надежды напрасны и она должна всем пожертвовать – чего стоят опасность и смерть в сравнении с той мукой, что станет отныне ее вечной спутницей!

Ночь предвещала бурю: ветер бился в окна, и деревья размахивали огромными темными руками, словно великаны в фантастической пляске или жаркой ссоре. Никем не замеченные, Констанция и Манон выскользнули из замка черным ходом и направились вниз по холму. Луна еще не взошла; хотя дорога была обеим знакома, Манон дрожала и спотыкалась; графиня же, запахнув на себе шелковый плащ, твердым шагом спускалась по тропе. Они дошли до речного берега: здесь ожидала их лодка с гребцом. Констанция легко шагнула в лодку и помогла войти своей трепещущей спутнице. Несколько секунд – и они уже на середине реки. Теплый ночной ветерок обвеивает их лица. В первый раз за время ее траура сердце Констанции затрепетало

от наслаждения. Удвоенною радостью встретила она это чувство. «Не может быть, – думалось ей, – чтобы Небеса запретили мне любить Гаспара – храброго, великодушного, благородного Гаспара! Я никогда не полюблю другого; я умру, если навеки с ним расстанусь; неужели же это сердце, это тело, полное ярких ощущений бытия, обречено безвременной могиле? О нет! – слишком громко говорит в нем жизнь! Я буду жить – жить, чтобы любить. Не все ли на свете любит друг друга? Ветры нашептывают признания быстротекущим водам, а воды целуют цветущие берега и мчатся вперед, чтобы слиться с морем. Небо и земля – все движется, все живет одной любовью; ужели одна Констанция, в чьем сердце слит неиссякаемый родник истинной любви, должна завалить свой колодец камнем и замуравать его навеки?»

Подобные мысли навевают приятные сны: тем с большей готовностью графиня, поклонница слепого божества, им предавалась. Погруженная в нежные мечтания, она ничего вокруг себя не замечала, как вдруг Манон схватила ее за руку.

– Взгляните, госпожа, – воскликнула она. – Они гребут, а плеска мы не слышим! Оборони нас Пресвятая Дева! Ах, зачем мы не остались дома?

Темная лодка скользила мимо них. Четверо гребцов, закутанных в черные плащи, налегали на весла – и Манон была права, весла их не издавали ни звука; еще один сидел у руля; как и остальные, он был в черном плаще, но без капюшона, и, хоть не поворачивал головы, Констанция узнала в нем своего возлюбленного.

– Гаспар, – вскричала она, – жив ли ты?

Но человек у руля не повернул головы и не ответил, и скоро лодка скрылась в ночной тьме.

Как изменилось теперь настроение прекрасной графини! Видимо, чудеса уже начались: напряженно вперяла она глаза во мрак в поисках неземных созданий. Лодка, вызвавшая в ней ужас, то мелькала впереди, то скрывалась из виду; порой казалось графине, что она видит и другое судно, полное мертвецов, что с берега ей машет рукою отец и хмуро смотрят братья.

Наконец их суденышко причалило в небольшой заводи, и Констанция ступила на берег. Теперь она дрожала и уже готова была поддаться просьбам Манон о возвращении домой; но неразумная *suivante*⁴⁸ упомянула имена короля и де Водемона, а также ответ, который графиня должна дать завтра. Какой же может быть ответ, если сейчас она откажется от своего намерения?

Они поспешили вверх по обрывистому берегу и скоро поднялись на крутой холм, что высился над водами Луары. Здесь стояла часовенка. Дрожащими пальцами графиня достала ключ и отперла дверь. Женщины вошли. В часовне было темно – лишь бледный, трепещущий на ветру огонек лампадки бросал неясные отсветы на статую святой Екатерины. Женщины преклонили колени и помолились, а затем графиня, поднявшись, с преувеличенной бодростью пожелала служанке доброй ночи. С этими словами она отперла низенькую железную дверцу: та вела в узкий проход, вырубленный в скале. Снизу доносился отдаленный рокот реки.

– Не ходи за мной, бедная Манон, – сказала Констанция. – Вижу, тебе такие приключения не по душе – я пойду сама.

Едва ли справедливо было оставлять трепещущую горничную в часовне одну: ведь ее не терзали ни надежды, ни тревоги, ни любовь, ни горе – ничего, что отвлекает от страха. Но в то время приближенные знатных людей играли роль нижних чинов в нынешней армии: им доставались все шишки, а вся слава – вышестоящим. Кроме того, в святом месте Манон была в безопасности.

Графиня ощупью продвигалась во тьме по узкой извилистой пещере. Наконец глаза ее, уже привыкшие к темноте, заметили, что впереди становится светлее. Она достигла отверстия в склоне холма; внизу шумели бурные воды Луары. Констанция подошла к краю и взглянула

⁴⁸ Спутница (*фр.*).

вниз. Перед ней мчалась река, как мчится и поныне – вечно изменчивая и вечно та же; небо затянула пелена туч; ветер завывал в древесных кронах скорбно и зловеще, словно над могилой убийцы. Констанция слегка вздрогнула и перевела взгляд на свою «постель» – узкий, поросший мхом скалистый выступ на самом краю обрыва. Она сняла накидку – таково было одно из условий испытания, – склонив голову, распустила темные волосы, разулась и так, беззащитная перед ночным холодом, легла на узкое ложе, где едва мог поместиться человек; стоило повернуться во сне – и она стремглав полетела бы в холодную пучину.

Поначалу Констанции казалось, что она не заснет до утра. Неудивительно: холод, ветер и опасное положение не давали ей закрыть глаза. Но скоро она погрузилась в сладкие, успокоительные мечтания о том, что хотела бы увидеть во сне; мало-помалу мысли ее начали путаться; сейчас она еще на ложе Святой Екатерины, внизу шумит Луара, и воет над головою свирепый ветер – а в следующий миг... Куда же унесло ее забытье? Какие сны послала ей святая – ввергла ли в бездну отчаяния или даровала блаженство?

А тот, кто сидел в лодке над обрывистой кручей, над темной водой, не отводил глаз от уступа: тысячи страхов надрывали ему сердце, почти заглушая слабый голос надежды. Он думал опередить свою возлюбленную, но когда понял, что времени не остается, прыгнул в лодку и помчался за нею следом; весла он приказал обернуть тряпками, чтобы Констанция не слышала плеска, и не откликнулся на ее голос, страшась навлечь ее гнев и приказание вернуться. Он видел, как она вышла из пещеры, и вздрогнул, когда она облокотилась на утес. Видел, как она, в белом платье, шагнула вперед и легла на узкий уступ.

Нет усерднее часовых, чем влюбленные. Он знал, она думает о нем – и это сознание наполняло его грудь противоречивыми чувствами: любовь, любовь к нему привела ее на это гибельное ложе; теперь она со всех сторон окружена опасностями; все в ней умолкло, кроме тихого голоса сердца, нашептывающего сны, которые решат их судьбы. Быть может, она уже спит – но он не заснет до утра. Тянулись ночные часы: то воссылая молитвы к Небесам, то разрываясь между страхом и надеждой, сидел в лодке Гаспар и не сводил глаз с белого пятна на темном уступе.

Что это, рассвет пробивается сквозь тучи? А ему казалось, что эта ночь никогда не кончится! Спала ли она? Какие видения – во благо или на горе – посещали ее сон? Гаспар не мог больше ждать. Приказав своим гребцам дожидаться его внизу, он бросился вперед, стремясь взобраться на кручу. Напрасно они предупреждали его об опасности, да что там – о невозможности такого предприятия: смело хватался он за обветренные уступы и ставил ногу туда, где, казалось, для ноги места не найдется. Впрочем, склон был не слишком крут: опасность ложа Святой Екатерины происходила лишь от того, что человек, спящий на таком узком уступе, рисковал свалиться в реку. Все выше поднимался Гаспар по крутому склону: наконец он схватился за корни дерева совсем рядом с заветной целью. Цепляясь за его ветви, встал он на самом краю ложа, рядом с изголовьем, где покоилась непокрытая голова его возлюбленной. Руки ее были сложены на груди, темные волосы, разметавшись, прикрыли шею и щеку, на лице читалась безмятежность: Гаспар видел пред собою воплощение Сна во всей его невинности и беззащитности. Все волнения улеглись, и грудь Констанции теперь ровно вздымалась. Если бы поднять ее скрещенные руки, казалось, Гаспар смог бы увидеть биение сердца. Ни одна мраморная статуя, изваянная искусным художником, не была столь прекрасна – ибо в этом нежном теле обитала душа правдивее, добрее и самоотверженнее всех, что когда-либо согревали человеческое дыхание.

С глубоким чувством смотрел на нее Гаспар. Какой надеждою наполняла его эта ангельская безмятежность! Вот на губах ее показалась улыбка – он и сам невольно улыбнулся и поздравил себя со счастливым предзнаменованием; но вдруг щеки ее заалели, грудь заволновалась, слеза скатилась из-под темных ресниц, а вслед за нею хлынул целый поток слез; приподнявшись, Констанция воскликнула:

– Нет! Он не умрет! Я разобью его цепи, я спасу его!

Гаспар был рядом; руки подхватили ее легкое тело, готовое скатиться с гибельного ложа. Констанция открыла глаза – и увидела своего возлюбленного, который всю ночь стерег ее сон, а теперь спас ее от гибели.

Манон сладко проспала всю ночь. Что ей снилось – сказать мудрено; только проснувшись она от какого-то шума и, открыв глаза, увидала вокруг себя целую толпу. Бедная часовенка на пустынном берегу была увешана гобеленами, алтарь украшен золотыми чашами – священник служил мессу перед толпою коленопреклоненных рыцарей. Манон заметила, что и король Генрих здесь; поискала взглядом другого – не нашла; в этот миг отворилась железная дверца, и явился Гаспар де Водемон, ведя за собою прекрасную Констанцию. В белом платье, с распущенными волосами, то улыбаясь, то заливаясь румянцем от переполнявших ее чувств, подошла она к алтарю и, преклонив колени вместе со своим возлюбленным, произнесла клятву, связавшую их навеки.

Много дней прошло, прежде чем счастливцев Гаспар выведал у своей госпожи, что ей снилось. Слишком много вытерпела она и, несмотря на нынешнее счастье, не могла без ужаса вспоминать о тех днях, когда считала свою любовь преступною: все тогдашние события представлялись ей в мрачном свете. Множество видений, призналась она, явилось ей той страшной ночью. Она видела души отца и братьев в раю; видела, как Гаспар храбро сражается с неверными; видела его при дворе короля Генриха, прославленного, всеми любимого; видела и себя – то невестой, то монахиней, то благодарящей Небеса за свое блаженство, то горько оплакивающей свои несчастья. Наконец представилось ей, что она в Святой Земле и сама святая Екатерина ведет ее невидимкой по городу неверных. Войдя во дворец, увидала она, что нечестивцы празднуют победу. Спустившись затем в подземные темницы, ощупью нашли они путь под сырыми сводами по низким, сочащимся влагой переходам к одной камере, еще темнее и страшнее прочих. На полу ее лежал узник в грязных лохмотьях, обросший бородой. Тело его превратилось в скелет, обтянутый кожей, глаза утратили блеск, на исхудалых руках и ногах свободно болтались оковы.

– Неужели же мое явление в столь привлекательном виде и блестящем наряде смягчило неумолимое сердце Констанции? – спросил Гаспар, улыбаясь несбывшемуся видению.

– Именно так, – отвечала она. – Сердце прошептало мне, что это моя вина: но кто же вернет угасающую жизнь, кто спасет и восстановит погибающего? Никогда душа моя так не рвалась к живому, полному сил молодому рыцарю, как загорелась она во сне, когда я увидела тебя у своих ног, изможденного, близкого к смерти. С глаз словно спала пелена, и тьма передо мною рассеялась. Кажется, в первый раз я осознала, что такое жизнь и что – смерть. Только теперь я поняла, что счастье живых не оскорбляет мертвецов; только теперь ощутила, как суетны и ложны убеждения, что обращают доброту и благородство в злобу и ненависть. Нет, ты не умрешь, воскликнула я: я разобью твои цепи и спасу тебя, ты будешь жить для любви! Я бросилась вперед... Смерть, угрожавшая тебе во сне, настигла бы меня наяву – в тот самый миг, когда я впервые почувствовала истинную цену жизни, – но твоя рука удержала меня над пропастью, а милый голос призывал от скорби к нескончаемому блаженству.

Скорбящая

*Роковой грозный призрак промчавшихся лет
Неизменен всегда, средь веселий и бед;
Целый мир его тенью туманной покрыт;
Не живет его радость, печаль не мрачит.*

*Томас Мур*⁴⁹

Что за великолепный вид открывается перед нами! По праву им гордятся короли⁵⁰. Где еще, среди созданий природы или творений художников, глазу дано насладиться столь утонченно прекрасным ландшафтом, как на берегах озера Вирджиния-Уотер, что раскинулось среди лесов, точно зеркало небес, по краям затененное прихотливыми изгибами берегов, их темными бухточками и полукруглыми мысами? В этот час, когда солнце клонится к закату, любоваться озером почти мучительно: зрение устает, душа тяготится избытком красоты. Земля, воздух, вода – все здесь впитывает сияние, струящееся из небесного родника; зелень листы словно сочится золотым нектаром; озеро, кажется, полно не росой земной, а воздухом и светом; деревья и изящная беседка плывут в его глубине – и видятся отчетливее, и кажутся прекраснее, чем их двойники на берегу. И эта сцена не молчалива: звуки слаще колыбельной, под которую отходила ко сну Венера, выразительнее песни Тиресия, побудившей Александра к деяниям войны, торжественнее псалмов святой Цецилии, плывут над волнами и смешиваются с легким ветерком, не тревожащим поверхность воды. Странно: кажется, в этом роднике звуков, в этой сладостной мелодии, бессознательно связывающей шум леса и гармонию, открывающую нашим очарованным чувствам рай, вновь и вновь повторяются в одном порядке три или четыре мрачные, тревожные ноты.

Солнце касается дальнего края озера, и нежные розоватые оттенки заката смешиваются с яростно-пламенными. Наша лодка долго уже плывет по широким водным просторам; пристанем теперь к тенистому берегу, где купают ветви в воде грациозные ивы. Потревоженная дикая утка, хлопая крыльями и рассыпая вокруг сверкающие брызги, взлетает из своего убежища. Неторопливо проплывает вдалеке пара статных лебедей; с плеском разбегается из-под наших весел разная водоплавающая мелочь. Сумерки здесь не омрачены тенями; все, что мы видим, – как постепенно и равномерно отступает великий прилив дня. Можно сойти на берег и прогуляться среди высокой травы; до настоящей темноты еще далеко. В парке нам встретятся все деревья, какие только растут в Англии, начиная с раскидистых старых дубов. Сплошной покров листы отделяет нас от небес, ничего не скрывая, – так прячутся за шелковой вуалью прелестные женские черты. Под этим ажурным покровом можно предаться самым беззаботным размышлениям; а если грустные мысли увлекут нас на поиски какого-нибудь уголка потемнее – пойдем мимо водопада по направлению к Бельведеру и остановимся в сосновой роще с густым травяным подлеском; или присядем с другой стороны озера, под сенью сребровольного ясеня; или найдем себе укрытие под нерукотворным шатром одного из величественных старых буков, чьи выступающие из земли корни наводят на мысль о шутке природы; и пусть аромат густых зарослей восковницы ласкает наши ноздри, чтобы ни одно из чувств не оставалось без наслаждения.

⁴⁹ Из «Ирландских мелодий». Перевод М. Вронченко.

⁵⁰ Автор описывает Большой Виндзорский парк, с XIII века служивший королевским заказником, а с XVIII века – местом отдыха членов королевской семьи. Во время Второй мировой войны парк был практически razoren.

Ныне в эти чуждые места нет хода никому, кроме королевских особ; но в былые годы, когда домик на берегу озера именовался Коттеджем Регента, или еще раньше, когда в ней обитал помощник лесничего, лабиринт тропинок Чапел-Вуд был открыт для всех, и никакой Цербер, глухой к мольбам и рыданиям, не охранял чугунные ворота, преграждающие путь к Вирджиния-Уотер и в парк. Здесь-то однажды, летним вечером, плыли в лодке по безмятежной озерной глади Хорас Невилл и две его юные красавицы-кузины –

И радость светлых размышлений
Сменялась грустью мрачных дум⁵¹.

Невилл умел красноречиво хвалить английские виды.

– В чужих краях, – говорил он, – можно найти ландшафты, полные дикого, варварского величия, или, как на юге, поражающие пышным цветением растительной жизни, или, как в Альпах, возвышающие дух строгой, величественной красотой. Можно – хоть и было бы сущей неблагодарностью в такой вечер, как нынешний, – сожалеть о блеклости и невыразительности английского неба. Но где найти места, сравнимые с зелеными долинами нашей родной страны, с их густыми лесами и изобилием вод? Где найти такие же деревенские хижинки под сенью могучих старых вязов? Возле каждого домика – сад, пестреющий ранними цветами: каждая изгородь цветет геранями и розами; голубоглазое дитя, доедая на ходу ломоть белого хлеба, гонит корову на пастбище; отовсюду доносится аромат цветов; огороженные поля морями золотого зерна колышутся в такт легкому ветерку; вот лаз через изгородь, вот тропинка, что уводит нас в поле, все дальше, дальше – через рощу, где ветви деревьев встречаются у нас над головой, и тень, и торжественная тишь превращают лес в подобие собора; извивы реки – «негромкий рокот вод, бегущих с гор»⁵²; и словно всего этого недостаточно – такие места, как это: оазисы чистой красоты, сады Эдемские, труды великой и щедрой руки, выдающие сразу и величайшее могущество, и величайшее желание творить красоту!

– И все же, – продолжал Невилл, – с немалым трудом убедил я себя сорвать лучшие плоды дядюшкиного завещания и вновь поселиться в этих местах, где прошло мое отрочество – местах, навеки связанных с бесплодными сожалениями и неотвязной болью.

Хорас Невилл, родовитый и богатый дворянин, едва ли заслуживал звания человека светского. Однако была в его натуре особая мягкость, задумчивость, обаятельная чувствительность, которая, вкупе с одаренностью и каким-то природным изяществом, даже самым простым его словам придавала глубину и заставляла слушателей вместе с ним переживать каждое его чувство. Младшая из кузин, несколькими годами моложе, питала к нему самую нежную привязанность; это долго оставалось тайной, но теперь они наконец обручились – и являли собой счастливую и любящую пару. При этих словах она вопросительно на него взглянула – но он, отвернувшись, коротко проговорил: «Довольно об этом» – и начал энергично гребти к берегу.

Вместе они вышли из лодки и долго шли пешком по зеленым просторам Чапел-Вуда. Уже совсем стемнело, когда в Бишопсгейте трое сели в экипаж.

Неделю или две спустя Хорас получил письма, призывающие его в отдаленную часть страны. За несколько дней до отъезда он пригласил кузину прогуляться. Путь их лежал через несколько лощин к церковному кладбищу в Старом Виндзоре. Поначалу Хорас не отклонялся от привычной дороги, и разговоры влюбленных звучали беззаботно и весело. Стоял чудный солнечный день, у самых ног их, танцую, плескались волны, деревенская церковь вздымала свой ржавый шпиль к сияющим небесам – все вокруг радовало и согревало сердце. Ничто в разго-

⁵¹ Уильям Вордсворт. Раннею весной. Перевод И. Меламеда.

⁵² Уильям Вордсворт. Тинтернское аббатство. Перевод В. Рогова.

воре не могло бы навести кузину на мысль, что Невилл привел ее сюда с какой-то невеселой целью; однако, когда они уже собрались уходить с кладбища, вдруг, словно о чем-то вспомнив, он свернул с тропы, пересек дерновую лужайку и остановился у одной могилы возле реки. Здесь не было камня, хранящего память об усопшем; могила обильно заросла травой, сквозь которую проглядывали скромные маргаритки; покой ее нарушали несколько сухих листьев и сломанная ветвь ежевичного куста. Невилл отбросил этот мусор в сторону, а затем сказал:

– Джульет, пока я буду в отъезде, хочу поручить это священное место твоим заботам. Монумена здесь нет, ибо те двое, к кому *она* молчаливо обращала свою последнюю волю, свято ей повиновались. Настанет день – рядом с ней ляжет еще один, и его имя станет ей эпитафией. Я говорю не о себе, – добавил он с грустной улыбкой, приметив на лице кузины ужас, – но, Джульет, обещаю тебе оберегать эту могилу от любого посягательства. Не хочу огорчать тебя этой историей; если я возбудил в тебе любопытство, то его удовлетворю – но не здесь и не сейчас.

Однако лишь на следующий день, когда все они втроем отправились на берег Вирджиния-Уотер и сели там в тени сосен, чьи ветви раскачивались на ветру, словно в такт какой-то неземной мелодии, Хорас Невилл поведал свою историю.

– В одиннадцать лет меня отослали в Итон. Не стану останавливаться на том, что мне там пришлось претерпеть; я бы и вовсе не упоминал о своих страданиях, не будь они частью рассказа. Я оказался на побегушках у одного старшекласника. Он стал мне жестоким хозяином: поручал самые тягостные и неприятные задания, какие только мог измыслить – а этот юный тиран был изобретателен; с утра до ночи я находился в его распоряжении, ради него вынужден был пренебрегать школьными обязанностями и порой навлекать на себя наказания. Приходилось терпеть кое-что и похуже: он с наслаждением выставлял меня на позор, а обнаружив, что в характере моем слишком много от матери и жестокость мне ненавистна, приказывал творить разные мерзости, против которых все во мне возмущалось. Я отказывался – и терпел за это. И нас еще пугают рабством в Вест-Индии! Надеюсь, сейчас дела обстоят лучше; но в мое время каждый сын аристократа в самом нежном возрасте проходил через годы капризного, беспощадного, жестокого рабства, с которым не сравнится деспотизм Ямайки.

Однажды – это был второй год моего обучения, мне почти исполнилось тринадцать – мой тиран, иного имени ему не подберу, желая потешить свою властную и жестокую натуру, приказал мне убить бедного маленького снегиря, которого я приручил и держал в клетке. В недобрый час обнаружил он птицу у меня в дортуаре⁵³ – и пришел в ярость от того, что я позволил себе одно-единственное удовольствие. Я отвечал «нет», упрямо и бесстрашно – ибо за неповиновением следовало скорое и безжалостное наказание. В этот миг вошел посланный от наставника моего мучителя с сообщением, что к нему приехал отец. «Ну погоди, приятель, – воскликнул он, – я с тобой еще расквитаюсь!» И в тот же миг, схватив моего любимца, свернул ему шею, бросил к моим ногам и, злобно расхохотавшись, вышел за дверь.

Никогда прежде не испытывал я такой кипучей ярости, такой бури, разрывающей сердце! – и, быть может, не испытаю впредь. Вид питомца, издыхающего у моих ног – жажда мести – бессилие: все это воспламенило во мне Везувий, который не могли угасить никакие слезы. Если бы мог я выразить свой гнев, в слове или в действии – быть может, он стал бы не так мучителен; и в самом деле, стало чуть легче, когда я разразился потоком брани и проклятий. Словарь мой был довольно обширен: его изо дня в день пополнял тот, против кого он ныне обратился. Но что толку в словах? Мне хотелось дать своему гневу более весомое доказательство – и я уничтожил все его вещи, какие нашлись в дортуаре: с недетской силой все изорвал и изломал, побросал на пол и истоптал ногами. Последними схватил карманные часы, которыми мой тиран безмерно гордился, и швырнул об пол. Вид разбитых часов у моих

⁵³ Общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях.

ног вернул меня в чувство – и к буре, бушующей в сердце, добавилось нечто вроде страха. Я задумал скрыться: вышел из корпуса, бегом пробежал по аллее и бросился через луга прочь от Итона, на север. Меня заметил один старшеклассник, приятель моего мучителя. Он меня окликнул, подумав сперва, что я бегу по какому-то поручению; однако, видя, что я (как у нас говорили) стрельнул прочь, повторил громко и властно: «Иди сюда!» От этого на ногах у меня словно выросли крылья. К счастью, он не счел нужным за мной погнаться... Впрочем, дорогая моя Джульет, боюсь тебе наскучить: довольно сказать, что страх двойного наказания от учителей и от старших укрепил мою решимость бежать. Я добрался до берегов Темзы, переплыл ее, связав одежду в узел и держа над головой, пересек несколько полей и углубился в Виндзорский лес – со смутным ребяческим чувством, что в этой бескрайней пуще смогу затеряться навеки. Стояла ранняя осень; погода была хорошая, даже теплая, и дубы в лесу еще зеленели – лишь кусты подлеска уже тронулись желтизной. Я дошел до Чаяпел-Вуда. Питался каштанами и буковыми орехами, прятался от охотников и лесничих – и так прожил два дня.

Однако каштаны и орехи – скудная пища для растущего мальчишки тринадцати лет. К тому же зарядили дожди, и я начал считать себя несчастнейшим на свете ребенком. Смерть от голода представлялась мне довольно смутно: я вспомнил «Детей в лесу»⁵⁴, тела которых добрые малиновки прикрыли листвой, это привело на память моего бедного снегиря – и слезы ручьями заструились по щекам. Вспомнил об отце и матери, о тебе, милой маленькой подруге моих игр, и зарыдал с новой силой; а потом, утомленный рыданиями, свернулся клубком на куче сухих листьев, накопившихся под дубом, должно быть, за сотню осеней, и уснул.

Я пускаюсь в такие подробности, словно впереди еще целая история; на деле мне осталось немногим более, чем нарисовать портрет – или набросок, – который, быть может, заинтересует вас или развлечет. Я проснулся – и первое, на что упал мой взгляд, была маленькая ножка, обтянутая шелком и обутая в нежную ягнячью кожу. Я поднял взгляд – в смутении, ибо по этой нарядной обуви ожидал увидеть перед собой какую-нибудь пышно разодетую даму; но увидел девушку, должно быть, лет семнадцати, скромно одетую в темное хлопчатобумажное платье, в очень грубой соломенной шляпе, широкие поля которой затеняли лицо; она была бледна почти мраморной бледностью; каштановые волосы расчесаны на пробор и заплетены в две простые косы; лицо хранило следы глубокого горя, большие, голубые, полные скорби глаза, казалось, в любой миг готовы были наполниться слезами; но это скорбное выражение смягчали младенческая нежность и невинность, сквозившие в изгибе ее губ.

Она заговорила со мной. Я был слишком голоден, слишком измучен, слишком несчастен, чтобы противиться ее доброте – и с радостью согласился пойти с ней. Мы вышли из леса на пустошь Бишопсгейт-Хит, прошли мимо нескольких полуразвалившихся заборов и скоро оказались возле ее дома. Это был уединенный, сумрачный с виду коттедж; изгородь поломана, сад зарос сорняками, калитку не украшали ни цветы, ни вьюнки; внутри оказалось чисто и прибрано, но очень уж скудно и мрачно. Чтобы в таком крохотном домишке стало уютно, он должен быть приветливо и изящно обставлен. В этой же лачуге был голый, хоть и чистый пол, камышовые стулья, еловый стол, простые клетчатые шторы – все это не отвечало привычкам и самых бедных крестьян. И все же именно здесь обитала моя прелестная проводница, чья маленькая белая рука, затянутая в тонкую перчатку, так же странно контрастировала с безыскусным одеянием, как и весь ее нежный облик – с неуклюжей обстановкой чересчур скромного жилья.

Бедное дитя! – она стремилась полностью скрыть свое происхождение, умалиться до простой крестьянки и едва ли понимала, что постоянно выдает себя этими несообразностями. Так, приборы на столе были самые простые, выбор блюд скудный даже для отшельника; но

⁵⁴ Английская народная баллада о детях, которых злой дядюшка бросил в лесу на верную смерть. Они умерли от голода, и малиновки прикрыли их тела листьями.

стол покрыт тончайшей льняной скатертью без единого пятнышка, а в подсвечниках, каких постыдился бы и нищий, горели восковые свечи. Но все эти обстоятельства я заметил уже позднее: пока же замечал лишь аппетитный завтрак, который по приказу хозяйки поставила передо мной единственная девочка-служанка, и нежный голос, звучавший с такой лаской и добротой, каких я давно уже не слышал. Когда я утолил голод, новая знакомая вытянула из меня мою историю, посоветовала написать отцу и убедила пожить у нее несколько дней, пока я прощенным не вернусь в школу. А вскоре я перешел в старшие классы – и мое злосчастное рабство завершилось.

С тех пор, едва выпадала возможность, я шел навестить таинственную нимфу. Я отдалился от школьных товарищей; их устремления, их забавы казались теперь глупыми и пошлыми; одно лишь было у меня на уме – покончив с уроками, ускользнуть в коттедж Эллен Барнет.

Любимая, не смотри так сурово! Верно, и в столь юном возрасте иные уже способны любить, мог бы влюбиться и я – но не в Эллен. Ее глубокая и постоянная грусть, сестра отчаянию, – неизменно серьезный и печальный разговор – ум, отстраненный от всех земных забот, – воспрещали питать к ней столь легкомысленные чувства; но было в ее скорби какое-то очарование, в беседах с ней нечто завораживающее, приподнимающее над обыденностью; она очертила себя магическим кругом, в который я вступал, словно на святую землю; ощущение это не было сродни небесам – в нем господствовал дух скорби; но была в этой скорби некая возвышенность чувства, порыв, стремление к нездешнему, что делали ее неземной, безумной, неукротимой – и неотразимой. Ты не раз говорила, что я как-то отличаюсь от других: общаюсь с людьми, делю с ними и занятия, и развлечения, но словно бы оставляю в стороне какую-то священную часть себя – колодец живой воды, сокрытый глубоко в сердце и запечатанный, дабы избежать загрязнения; черпаю из него нечасто, но он всегда здесь. Этот колодец открыла во мне Эллен – и с тех пор он не пересыхает.

О чем мы разговаривали? Никогда она не рассказывала о своих прошлых приключениях, не упоминала ни родных, ни друзей. Говорила о различных горестях, преследующих человечество, о запутанных лабиринтах жизни, о бедах, которые приносит страсть, о любви, раскаянии и смерти, о том, на что мы можем надеяться или чего страшиться за гробом; говорила о неизбывной боли, живущей в ее разбитом сердце, – и тут становилась пугающе красноречива, но вдруг умолкала, а затем упрекала себя за то, что делится со мной скорбью, которой лучше оставаться безмолвной. «Я приношу тебе вред, – часто говорила она, – делаю тебя непригодным для общества; видя, как преследует тебя мир в миниатюре, искаженный, но восприимчивый все дурные черты большого мира, я стараюсь защитить тебя от его злого влияния; но, боюсь, сама стану для тебя источником страшнейшего вреда, чем повседневное общение с товарищами. Не зря говорят: несчастье заразительно!»

Встречались в той картине, что я сейчас рисую пред тобой, и более мрачные тени. Таковы были страдания Эллен, что ты, милая моя девочка, незнакомая с бедой, едва ли сможешь их вообразить. Порой она давала волю своему отчаянию, столь великому, что в нем, казалось, стиралась грань между духовным и физическим, и каждый удар сердца был содроганием боли. Начав говорить о своих скорбях, она порой прерывала себя мучительным стоном, словно вспоминала о чем-то невыносимом – и, дрожа, закрыв лицо руками, в тоске и муке умоляла меня уйти. Одна мысль преследовала ее неотступно, хоть Эллен и гнала ее от себя – мысль о самоубийстве: перерубить серебряный шнур, на который судьба нанизала столько доброты, мудрости и невинной прелести, лишить мир создания, которое могло так его украсить! Порой ее останавливало благочестие; но чаще невыносимые страдания наполняли сердце радостью при одной мысли об этом ужасном конце. Признаваясь в этом мне, она бранила себя и называла грешницей – но, кажется, скорее ради того, чтобы не стать мне примером и уберечь от дурного влияния, чем из искреннего убеждения, что Отец Всевышний гневно встретит это последнее

деяние своего злосчастливого дитяти. Однажды она приготовила себе яд; когда я вошел, чаша стояла перед ней на столе; она не скрывалась, не пыталась себя оправдать – лишь просила меня ее не возненавидеть и скрасить последние минуты своей добротой. «Я не могу жить!» – вот было все объяснение, все оправдание; и такая невыразимая мука звучала в нем, что казалось преступлением молить ее отсрочить смерть и продлить боль.

В тот миг я повел себя не как мальчик – как мужчина; по крайней мере, на это надеюсь. Я обратился к ней с одной лишь простой просьбой, на которую она тут же дала согласие: прогуляться со мной до Бельведера. Солнце садилось; воздух дышал красотой и любовью; и, указав на лес и поле, что красочный закат окрасил мягкими золотисто-розовыми тонами, я воскликнул:

– Взгляни, Эллен! Если есть в природе такая красота – стоит жить ради нее!

– Верно – если только неотвязная скорбь не чернит этот прекрасный пейзаж уродливыми тенями. Красота в глазах смотрящего; мои глаза все видят безобразным и злым.

С этими словами она прикрыла глаза; но все же Эллен была молода и чувствительна, и ласковые прикосновения ветерка уже начали дарить ей утешение.

– Милая Эллен, – продолжал я, – есть ли на свете хоть что-нибудь, чем я тебе не обязан? Я – твой ученик, твоё создание; жил бы слепо, как другие, но ты открыла мне глаза; ты показала мне, что справедливо, добро, прекрасно – неужто все лишь ради того, чтобы обречь меня на горе? Если ты меня покинешь, что со мною станет? – В эти слова я вложил все свое сердце; из глаз моих брызнули слезы. – Не покидай меня, Эллен! – продолжал я. – Я не смогу жить без тебя – но и умереть не смогу: ведь у меня есть мать... отец...

Тут она быстро отвернулась со словами: «Да, этим тебя судьба благословила!» – и голос ее поразил меня своей неестественностью. Она побледнела как смерть и принуждена была присесть. Я не отходил от нее, умолял, плакал, пока она – прежде на моих глазах не пролившая ни слезинки – не разразилась бурными рыданиями.

После этого, казалось, она забыла о своем решении. Возвращались мы уже при лунном свете; разговор наш звучал даже спокойнее и веселее обыкновенного. Войдя в дом, я вылил смертоносный напиток. В ее «доброй ночи» не было уже и следа прежнего волнения; а на следующий день она сказала: «Безрассудно, даже порочно с моей стороны было, разорвав все прежние узы, связать себя новыми – и все же я буду верна долгу. Прости, что тебе пришлось встретиться со столь мучительными чувствами и участвовать в столь тягостных сценах; больше этого не повторится – я скреплю свое сердце и не покину тебя, пока связь между нами не ослабеет или не порвется и я не стану вновь свободна».

За все время нашего общения один лишь случай засвидетельствовал, что связь ее с миром не совсем утрачена. Порой я приносил Эллен газеты; времена были беспокойные, и, хотя до знакомства со мной она забыла все, кроме мира, в который заключила свое сердце, – теперь, чтобы меня порадовать, поддерживала беседы о Наполеоне, России, откуда император вернулся разбитым, и о надеждах на его конечное поражение. Однажды газета лежала на столе; вдруг какие-то строки привлекли ее взгляд; склонившись над столом, она начала с жадностью читать – и грудь ее бурно вздымалась; однако через несколько мгновений она овладела собой и попросила меня унести газету. Почти нестерпимое любопытство охватило меня, однако удовлетворить его было нечем, хоть позже я и обнаружил на этой странице объявление, гласившее:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.